

ИОСИФ  
БРОДСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1962-1989



Стихи

Часть речи



ИОСИФ БРОДСКИЙ

Часть речи





Wally Hynes

ИОСИФ  
БРОДСКИЙ

*Часть речи*

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1962–1989

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

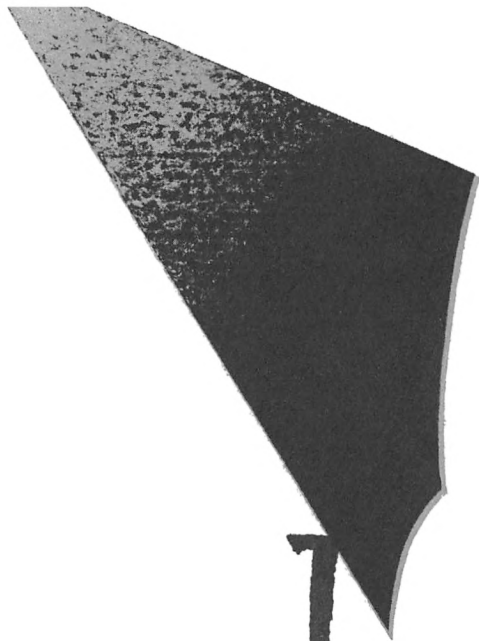
**ББК 84.7США  
Б88**

**Составление  
Э. БЕЗНОСОВА**

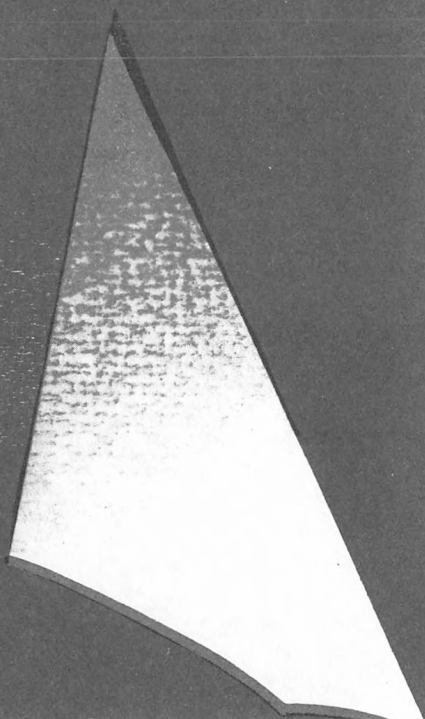
**Художник  
А. ЕРЕМИН**

**Б  $\frac{4703040200-250}{028(01)-90}$  без объявл.  
ISBN 5-280-01791-4**

**© Состав, оформление.  
Издательство «Художественная литература», 1990 г.**



I





\* \* \*

М. Б.

Я обнял эти плечи и взглянул  
на то, что оказалось за спиною,  
и увидел, что выдвинутый стул  
сливался с освещенною стеною.  
Был в лампочке повышенный накал,  
невыгодный для мебели истертой,  
и потому диван в углу сверкал  
коричневою кожей, словно желтой.  
Стол пустовал, поблескивал паркет,  
темнела печка, в раме запыленной  
застыл пейзаж; и лишь один буфет  
казался мне тогда одушевленным.  
Но мотылек по комнате кружил,  
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.  
И если призрак здесь когда-то жил,  
то он покинул этот дом. Покинул.

1962

\* \* \*

Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным  
холмам  
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме,  
к треугольным домам,  
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве,  
по песчаному дну,  
освещенный луной, и ее замечая одну.  
Гулкий топот копыт по застывшим холмам —  
это не с чем сравнить,  
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою  
нить,  
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает  
ручей,  
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине  
кирпичей.

Ну и скачет же он по замерзшей траве,  
растворяясь впотьмах,  
возникая вдали, освещенный луной, на бескрайних  
холмах,  
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух  
бьет по лицу,  
говоря сам с собой, растворяется в черном лесу.  
Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов,  
— не отыщется след,  
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается  
свет,

все равно ты его никогда ни за что не сумеешь  
догнать.  
Кто там скачет в холмах? я хочу это знать, я хочу  
это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой,  
говоря,  
одиноким лицом обернувшись к лесному царю,—  
обращаюсь к природе от лица треугольных домов:  
кто там скачет один, освещенный царицей холмов?  
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,  
из распахнутых окон бьет прекрасный рояль,  
разливается свет;  
кто-то скачет в холмах, освещенный луной,  
возле самых небес,  
по застывшей траве, мимо черных кустов.

Приближается лес.  
Между низких ветвей лошадиный сверкнет  
изумруд,  
кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,  
кто глядит на себя, отраженного в черной воде?  
Тот вернулся к себе, кто скакал по холмам  
в темноте.

Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг  
небылиц,  
ибо сотни холмов — поразительных круп кобылиц,  
на которых в ночи, но при свете луны, мимо  
сонных округ,  
засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся  
во тьму,  
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,  
от бобровых запруд, от холодных костров  
пустырей

до громоздких плотин, до безгласной толпы  
фонарей.  
Все равно — возвращенье, все равно даже в ритме  
баллад  
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный  
возврат.  
Даже если Творец на иконах своих не живет  
и не спит,  
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то  
в виде копыт.

Ты, мой лес и вода! кто объедет, а кто, как  
сквозняк,  
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,  
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,  
кто лежит в темноте на спине в ледящем ручье?  
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,  
потому что не жизнь, а другая какая-то боль  
приникает к тебе, и уже не слышать, как приходит  
весна;  
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно  
маятник сна.

1962

## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

*Евгению Рейну, с любовью*

Плывет в тоске необъяснимой  
среди кирпичного надсада  
ночной кораблик негасимый  
из Александровского сада,  
ночной фонарик нелюдимый,  
на розу желтую похожий,  
над головой своих любимых,  
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой  
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.  
В ночной столице фотоснимок  
печально сделал иностранец,  
и выезжает на Ордынку  
такси с больными седоками,  
и мертвецы стоят в обнимку  
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой  
певец печальный по столице,  
стоит у лавки керосинной  
печальный дворник круглолицый,  
спешит по улице невзрачной  
любовник старый и красивый.  
Полночный поезд новобрачный  
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,  
плывет в несчастье случайный,  
блуждает выговор еврейский  
на желтой лестнице печальной,  
и от любви до невеселья  
под Новый год, под воскресенье,  
плывет красotka записная,  
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,  
дрожат снежинки на вагоне,  
морозный ветер, бледный ветер  
обтянет красные ладони,  
и льется мед огней вечерних  
и пахнет сладкою халвою;  
ночной пирог несет сочельник  
над головою.

Твой Новый год по темно-синей  
волне средь моря городского  
плывет в тоске необъяснимой,  
как будто жизнь начнется снова,  
как будто будут свет и слава,  
удачный день и вдоволь хлеба,  
как будто жизнь качнется вправо,  
качнувшись влево.

1962

Воротишься на родину. Ну что ж.  
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,  
кому теперь в друзья ты попадешь?  
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,  
смотри в окно и думай понемногу:  
во всем твоя, одна твоя вина,  
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,  
как хорошо, что ты никем не связан,  
как хорошо, что до смерти любить  
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму  
ничья рука тебя не провожала,  
как хорошо на свете одному  
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,  
поймать себя в словах неоткровенных  
и вдруг понять, как медленно душа  
заботится о новых переменах.

\* \* \*

В твоих часах не только ход, но тишь.  
Притом, их путь лишен подобья круга.  
Так в ходиках: не только кот, но мышь;  
они живут, должно быть, друг для друга.  
Дрожат, скребутся, путаются в днях.  
Но их возня, грызня и неизбытность  
почти что незаметна в деревнях,  
где вообще в домах роится живность.  
Там каждый час стирается в уме,  
и лет былых бесплотные фигуры  
теряются — особенно к зиме,  
когда в сенях толпятся козы, овцы, куры.

1963



## БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг.  
Уснули стены, пол, постель, картины,  
уснули стол, ковры, засовы, крюк,  
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.  
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,  
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,  
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,  
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.  
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,  
среди бумаг, в столе, в готовой речи,  
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле  
остывшего камина, в каждой вещи.  
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,  
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,  
опять в тазу, в распятыях, в простынях,  
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.  
Уснуло все. Окно. И снег в окне.  
Соседней крыши белый скат. Как скатерть  
ее конек. И весь квартал во сне,  
разрезанный оконной рамой насмерть.  
Уснули арки, стены, окна, всё.  
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.  
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...  
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.  
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,  
замки, засовы, их ключи, запоры.

Нигде не слышен шепот, шорох, стук.  
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.  
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы  
среди рыбной лавки. Спят свиные туши.  
Дома, задворки. Спят цепные псы.  
В подвалах кошки спят, торчат их уши.  
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.  
Спит парусник в порту. Вода со снегом  
под кузовом его во сне сипит,  
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.  
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.  
И берег меловой уснул над морем.  
Весь остров спит, объятый сном одним.  
И каждый сад закрыт тройным запором.  
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.  
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.  
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.  
Наносит снег у входов нор сугробы.  
И птицы спят. Не слышно пенья их.  
Вороний крик не слышен, ночь, свиный  
не слышен смех. Простор английский тих.  
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.  
Уснуло все. Лежат в своих гробах  
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях  
живые спят в морях своих рубах.  
Поодиночке. Крепко. Спят в объятьях.  
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.  
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.  
Лишь белый снег летит с ночных небес.  
Но спят и там, у всех над головою.  
Спят ангелы. Тревожный мир забыт  
во сне святыми — к их стыду святому.  
Геенна спит, и Рай прекрасный спит.  
Никто не выйдет в этот час из дому.  
Господь уснул. Земля сейчас чужда.  
Глаза не видят, слух не внемлет боле.

И дьявол спит. И вместе с ним вражда  
заснула на снегу в английском поле.  
Спят всадники. Архангел спит с трубой.  
И кони спят, во сне качаясь плавно.  
И херувимы все — одной толпой,  
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.  
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.  
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых  
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,  
равно тихи, лежат в своих силлабах.  
И каждый стих с другим как близкий брат,  
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.  
Но каждый так далек от райских врат,  
так беден, густ, так чист, что в них — единство.  
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.  
Хореи спят, как стражи, слева, справа.  
И спит виденье в них летейских вод.  
И крепко спит за ним другое — слава.  
Спят беды все. Страданья крепко спят.  
Пороки спят. Добро со злом обнялось.  
Пророки спят. Белесый снегопад  
в пространстве ищет черных пятен малость.  
Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.  
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.  
Спят речи все, со всею правдой в них.  
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.  
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.  
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.  
И только снег шуршит во тьме дорог.  
И больше звуков нет на целом свете.

Но, чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,  
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.  
Там кто-то предоставлен всей зиме.  
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.

Так тонок голос! Тонок, впрямь игла.  
А нити нет... И так он одиноко  
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...  
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!  
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,  
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,  
любви моей? Во тьме идешь домой.  
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.  
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор  
напомнило мне этих слез звучанье.  
Не вы ль решились спящий мой собор  
покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.  
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой  
уж слишком огрублен суровой речью.  
Не ты ль поник во тьме седой главой  
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.  
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,  
которая повсюду здесь маячит?  
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,  
но слишком уж высокий голос плачет».  
Молчанье. Тишь.— «Не ты ли, Гавриил,  
подул в трубу, а кто-то громко лает?  
Но что ж лишь я один глаза открыл,  
а всадники своих коней седлают.  
Всё крепко спит. В объятых крепкой тьмы.  
А гончие уж мчат с небес толпою.  
Не ты ли, Гавриил, среди зимы  
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»

«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.  
Здесь я одна скорблю в небесной выси  
о том, что создала своим трудом  
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.  
Ты с этим грузом мог вершить полет  
среди страстей, среди грехов и выше.  
Ты птицей был и видел свой народ

повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.  
Ты видел все моря, весь дальний край.  
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.  
Ты видел также явно светлый Рай  
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.  
Ты видел: жизнь, она как остров твой.  
И с Океаном этим ты встречался:  
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.  
Ты Бога облетел и вспять помчался.  
Но этот груз тебя не пустит ввысь,  
откуда этот мир — лишь сотня башен  
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,  
сей страшный суд почти совсем не страшен.  
И климат там недвижим, в той стране.  
Оттуда всё как сон больной в истоме.  
Господь оттуда — только свет в окне  
туманной ночью в самом дальнем доме.  
Поля бывают. Их не пашет плуг.  
Года не пашет. И века не пашет.  
Одни леса стоят стеной вокруг,  
и только дождь в траве огромной пляшет.  
Тот первый дровосек, чей тощий конь  
вбежит туда, плутая в страхе чащей,  
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь  
в своей долине, там, вдали лежащей.  
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.  
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.  
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.  
И колокольный звон совсем не слышен.  
И он поймет, что всё — вдали. К лесам  
он лошадь повернет движеньем резким.  
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам  
и бедный конь — всё станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.  
Вернуться суждено мне в эти камни.

Нельзя придти туда мне во плоти.  
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.  
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,  
в сырой земле, забыв навек, на муку  
бесплодного желанья плыть вослед,  
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.  
Но, чу! пока я плачем твой ночлег  
смущаю здесь,— летит во тьму, не тает,  
разлуку нашу здесь сшивая, снег,  
и взад-вперед игла, игла летает.  
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.  
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,  
покуда снег летит на спящий дом,  
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,  
свой чистый путь и жажду жизни лучшей  
раз навсегда доверив той звезде,  
которая сейчас сокрыта тучей.  
Подобье птиц, душа его чиста;  
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,  
естественней вороньего гнезда  
над серою толпой пустых скворешен.  
Подобье птиц, и он проснется днем.  
Сейчас — лежит под покрывалом белым,  
покуда сшито снегом, сшито сном  
пространство меж душой и спящим телом.  
Уснуло всё. Но ждут еще конца  
два-три стиха и скалят рот щербато,  
что светская любовь — лишь долг певца,  
духовная любовь лишь плоть аббата.  
На чье бы колесо сих вод ни лить,  
оно всё тот же хлеб на свете мелет:  
ведь если можно с кем-то жизнь делить,  
то кто же с нами нашу смерть разделит?  
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.

Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.  
Еще рывок! И только небосвод  
во мраке иногда берет иглу портного.  
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.  
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.  
Того гляди и выглянет из туч  
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

*1963*

## ЗАГАДКА АНГЕЛУ

М. Б.

Мир одеял разрушен сном.  
Но в чьем-то напряженном взоре  
маячит в сумраке ночном  
окном разрезанное море.  
Висит в кустах аэростат.  
Две лодки тонут в разговорах,  
что туфли в комнате блестят,  
но устрицам не дают створок.

Подушку обхватив, рука  
сползает по столбам отвесным,  
вторгаясь в эти облака  
своим косноязычным жестом.  
О камень порванный чулок,  
изогнутый впотьмах, как лебедь,  
раструбом смотрит в потолок,  
как будто почерневший невод.

Два моря с помощью стены,  
при помощи неясной мысли,  
здесь как-то так разделены,  
что сети в темноте повисли  
пустыми в этой глубине,  
но всё же ожидают всплыть  
от пущенной сквозь крест в окне,  
связующей их обе, нити.



Звезда желтеет на волне,  
маячат неподвижно лодки.  
Лишь крест вращается в окне  
подобием простой лебедки.  
К поверхности их двух пустот  
два невода ползут отвесно,  
надеясь: крест перенесет  
и спустит их в другое место.

Так тихо, так не слышно слов,  
что кажется окну пустому:  
надежда на большой улов  
сильней, чем неподвижность дома.  
И вот уж в темноте ночной  
окну с его сияньем лунным  
две грядки кажутся волной,  
а куст перед крыльцом — буруном.

Но дом недвижим, и забор  
во тьму ныряет поплавками,  
и воткнутый в крыльцо топор  
один следит за топляками.  
Часы стрекочут. Вдалеке  
ворчаньем заглушает катер,  
как давит устрицы в песке  
ногой бесплотный наблюдатель.

Два глаза источают крик.  
Лишь веки, издавая шорох,  
во мраке защищают их  
собою наподобье створок.  
Как долго эту боль топить,  
захлестывать моторной речью,  
чтоб дать ей оспой проступить  
на теплой белизне предплечья?

Как долго? До утра? Едва ль.  
И ветер паутину гонит,  
из веток шевеля вуаль,  
где глаз аэростата тонет.  
Сеть выбрана, в кустах удоб  
свистком предупреждает кражу;  
и молча замирает тот,  
кто бродит в темноте по пляжу.

*1962*

## ПЕСНЯ

Пришел сон из семи сел.  
Пришла лень из семи деревень.  
Собирались лечь, да простыла печь:  
окна смотрят на север.  
Сторожит у ручья скирда ничья,  
и большак развезло, хоть бери весло.  
Уронил подсолнух башку на стебель.

То ли дождь идет, то ли дева ждет.  
Запрягай коней да поедем к ней.  
Невеликий труд бросить камень в пруд:  
подопьем, на шелку постелем.  
Отчего молчишь и как сыч глядишь?  
Иль зубчат забор, как еловый бор,  
за которым стоит терем?

Запрягай коня да вези меня.  
Там не терем стоит, а сосновый скит.  
И цветет вокруг монастырский луг:  
ни амбаров, ни изб, ни гумен.  
Не раздумал пока, запрягай гнедка.  
Всем хорош монастырь, да с лица — пустырь,  
и отец игумен, как есть, безумен.

1964

## ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

Песни счастливой зимы  
на память себе возьми,  
чтоб вспоминать на ходу  
звуков их глухоту;  
местность, куда, как мышь,  
быстрый свой бег стремишь,  
как бы там ни звалась,  
в рифмах их улеглась.

Так что, вытянув рот,  
так ты смотришь вперед,  
как глядит в потолок,  
глаз пыля, ангелок.  
А снаружи — в провал  
снег, белей покрывал  
тех, что нас занесли,  
но зимы не спасли.

Значит, это весна.  
То-то крови тесна  
вена: только что взрежь,  
море ринется в брешь.  
Так что — виден насквозь  
вход в бессмертие врозь,  
вызывающий грусть,  
но вдвойне: наизусть.

Песни счастливой зимы  
на память себе возьми.  
То, что спрятано в них,  
не отыщешь в иных.  
Здесь, от снега чисты,  
воздух секут кусты,  
где дрожит средь ветвей  
радость жизни твоей.

*1963*

## ЛОМТИК МЕДОВОГО МЕСЯЦА

М. Б.

Не забывай никогда,  
как хлещет в пристань вода  
и как воздух упруг  
(как спасательный круг).

А рядом — чайки галдят,  
и яхты в небо глядят,  
и тучи вверху летят,  
словно стая утят.

Пусть же в сердце твоём,  
как рыба, бьется живьем  
и трепещет обрывок  
нашей жизни вдвоем.

Пусть слышится устриц хруст,  
пусть топорщится куст.  
И пусть тебе помогает  
страсть, достигшая уст,

понять — без помощи слов —  
как пена морских валов,  
достигая земли,  
рождает гребни вдали.

1963

## ЗИМНЯЯ СВАДЬБА

(из «Старых английских песен»)

Я вышла замуж в январе.  
Толпились гости во дворе,  
И долго колокол гудел  
В той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,  
Видна дорога в два конца.  
Я посылаю взгляд свой вдаль,  
И не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.  
Жених мой на меня глядит.  
И столько свеч для нас двоих!  
И я считаю их.

*1961*

## ОБОЗ

Скрип телег тем сильней,  
чем больше вокруг теней.  
Сильней, чем дальше они  
от колючей стерни.  
Из колеи в колею  
дерут они глотку свою  
тем громче, чем дальше луг,  
чем гуще листва вокруг.

Вершина голой ольхи  
и желтых берез верхи  
видят, уняв озноб,  
как смотрит связанный сноп  
в чистый небесный свод.  
Опять коряга, и вот  
деревья слышат не птиц,  
а скрип деревянных спиц  
и громкую брань возниц.

*1964*



## ПЕСЕНКА

М. Б.

«Пролитую слезу  
из будущего привезу,  
вставлю ее в колечко.  
Будешь гулять одна,  
надевай его на  
безымянный, конечно».

«Ах, у других мужья,  
перстеньки из рыжья,  
серьги из перламутра.  
А у меня — слеза,  
жидкая бирюза,  
просыхает под утро».

«Носи перстенок, пока  
виден издалека;  
потом другой подберется.  
А надоест хранить,  
будет что уронить  
ночью на дно колодца».

## С ГРУСТЬЮ И С НЕЖНОСТЬЮ

*А. Горбунову*

На ужин вновь была лапша, и ты,  
Мицкевич, отодвинув миску,  
сказал, что обойдешься без еды.  
Поэтому и я, без риску  
медбрату показаться бунтарем,  
последовал чуть позже за тобою  
в уборную, где пробыл до отбоя.  
«Февраль всегда идет за январем.  
А дальше — март». Обрывки разговора.  
Сиянье кафеля, фарфора;  
вода звенела хрусталем.

Мицкевич лег, в оранжевый волчок  
оставив свой невидящий зрачок.  
(А может — там судьба ему видна.)  
Бабанов в коридор медбрата вызвал.  
Я замер возле темного окна,  
и за спиною грохал телевизор.  
«Смотри-ка, Горбунов, какой — там хвост».  
«А глаз какой». «А видишь тот нарост,  
над плавником?» «Похоже на нарыв».  
Так в феврале мы, рты раскрыв,  
тарачились в окно на звездных Рыб,

сдвигая лысоватые затылки,  
в том месте, где мокрота на полу.  
Где рыбу подают порой к столу,  
но к рыбе не дают ножа и вилки.

*1964*

*М. Б.*

Как тюремный засов  
разрешается звоном от бремени,  
от калмыцких усов  
над улыбкой прошедшего времени,  
так в ночной темноте,  
обнажая надежды беззубие,  
по версте, по версте  
отступает любовь от безумия.

И разинутый рот  
до ушей раздвигая беспамятством,  
как садок для щедрот  
временным и пространственным пьяницам,  
что в горящем доме,  
ухитряясь дрожать под заплатами  
и уставясь во тьму,  
заедают версту циферблатами,—  
боль разлуки с тобой  
вытесняет действительность равную  
не печальной судьбой,  
а простой Архимедовой правдою.

Через гордый язык,  
хоронясь от законности с тщанием,  
от сердечных музык  
пробираются память с молчанием

в мой последний пенат —  
то ль слезинка, то ль веточка вербная,—  
и тебе не понять,  
да и мне не расслышать, наверное,  
то ли вправду звенит тишина,  
как на Стиксе уключина.  
То ли песня навзрыд сложена  
и посмертно заучена.

*1964*

## В РАСПУТИЦУ

Дорогу развезло,  
как реку.  
Я погрузил весло  
в телегу,  
спасательный овал  
намаслив  
на всякий случай. Стал  
запаслив.

Дорога, как река,  
зараза.  
Мережей рыбака —  
тьень вяза.  
Коню не до ухи  
под носом.  
Тем более, хи-хи,  
колесам.

Не то, чтобы весна,  
но вроде.  
Разброд и кривизна.  
В разброде  
деревни — все подряд  
хромая.  
Лишь полный скуки взгляд —  
прямая.

Орешники скребут  
по борту.  
Спасательный хомут —  
на морду.  
Над яблоней моей,  
над серой,  
восьмерка журавлей  
на север.

Возри сюда, о друг-  
потомок:  
во всеоружьи дуг,  
постромок,  
и двадцати пяти  
от роду,  
пою на полпути  
в природу.

*1964*

## К СЕВЕРНОМУ КРАЮ

Северный край, укрой.  
И поглубже. В лесу.  
Как смолу под корой,  
спрячь под веком слезу.  
И оставь лишь зрачок,  
словно хвойный пучок,  
на грядущие дни.  
И страну заслони.

Нет, не волнуйся зря:  
я превращусь в глухаря,  
и, как перья, на крылья мне лягут  
листья календаря.  
Или спрячусь, как лис,  
от человеческих лиц,  
от собачьего хора,  
от дуствольных глазниц.

Спрячь и зажми мне рот!  
Пусть при взгляде вперед  
мне ничего не встретить,  
кроме желтых болот.  
В их купели сырой  
от взоров нескромных скрой  
след, если след оставлю,  
и в трясину зарой.



Не мой черед умолкать.  
Но пора окликать  
только тех, кто не станет  
облака упрекать  
в красноте, в тесноте.  
Пора брести в темноте,  
вторя песней без слов  
частоколу стволов.

Так шуми же себе  
в судебной своей судьбе  
над моей головою,  
присужденной тебе,  
но только рукой (плеча)  
дай мне воды (ручья)  
зачерпнуть, чтоб я понял,  
что только жизнь — ничья.

Не перечь, не порочь.  
Новых гроз не пророчь.  
Оглянись, если сможешь —  
так и уходят прочь:  
идут сквозь толпу людей,  
потом — вдоль рек и полей,  
потом сквозь леса и горы.  
Все быстрее, все быстрее.

1964

\* \* \*

В деревне Бог живет не по углам,  
как думают насмешники, а всюду.  
Он освящает кровлю и посуду  
и честно двери делит пополам.  
В деревне он в избытке. В чугуне  
он варит по субботам чечевицу,  
приплясывает сонно на огне,  
подмигивает мне, как очевидцу.  
Он изгороди ставит, выдает  
девицу за лесничего и, в шутку,  
устраивает вечный недолет  
объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же все это наблюдать,  
к осеннему прислушиваясь свисту,  
единственная, в общем, благодать,  
доступная в деревне атеисту.

1964

## НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ

М. Б.

1

Во вторник начался сентябрь.  
Дождь лил всю ночь.  
Все птицы улетели прочь.  
Лишь я так одинок и храбр,  
что даже не смотрел им вслед.  
Пустынный небосвод разрушен.  
Дождь стягивает просвет.  
Мне юг не нужен.

2

Тут, захороненный живьем,  
я в сумерках брожу жнивьем.  
Сапог мой разрывает поле  
(бушует надо мной четверг),  
но срезанные стебли лезут вверх,  
почти не ощущая боли.  
А прутья верб,  
вонзая розоватый мыс  
в болото, где снята охрана,  
бормочут, опрокидывая вниз  
гнездо жулана.

## 3

Стучи и хлюпай, пузыришь, шурши.  
 Я шаг свой не убыстрою.  
 Известную тебе лишь искру  
 гаси, туши.  
 Замерзшую ладонь прижав к бедру,  
 бреду я от бугра к бугру,  
 без памяти, с одним каким-то звуком,  
 подошвой по камням стучу.  
 Склоняясь к темному ручью,  
 гляжу с испугом.

## 4

Что ж, пусть легла бессмысленности тень  
 в моих глазах, и пусть впиталась сырость  
 мне в бороду, и кепка — набекрень —  
 венчая этот сумрак, отразилась,  
 как та черта, которую душе  
 не перейти —  
 я не стремлюсь уже  
 за козырек, за пуговку, за ворот,  
 за свой сапог, за свой рукав.  
 Лишь сердце вдруг забьется, отыскав,  
 что где-то я пропорот. Холод  
 трясет его, мне в грудь попав.

## 5

Бормочет предо мной вода,  
 и тянется мороз в прореху рта.  
 Иначе и не вымолвить: чем может  
 быть не лицо, а место, где обрыв  
 произошел.

И смех мой крив  
и сумрачную гать тревожит.  
И крошит темноту дождя порыв.  
И образ мой второй, как человек,  
бежит от красноватых век,  
подскакивает на волне  
под соснами, потом под ивняками,  
мешается с другими двойниками,  
как никогда не затеряться мне.

6

Стучи и хлюпай. Жуй подгнивший мост.  
Пусть хляби, окружив погост,  
высасывают краску крестовины.  
Но даже этак кончикам травы  
болоту не прибавить синевы...  
Топчи овины,  
бушуй среди густой еще листвы.  
Вторгайся по корням в глубины  
и там, в земле, как здесь, в моей груди  
всех призраков и мертвецов буди.  
И пусть они бегут, срезая угол,  
по жнивну к опустевшим деревьям  
и машут налетевшим дням,  
как шляпы пугал.

7

Здесь на холмах, среди пустых небес,  
среди дорог, ведущих только в лес,  
жизнь отступает от самой себя  
и смотрит с изумлением на формы,  
шумящие вокруг. И корни  
вцепляются в сапог, сопя,  
и гаснут все огни в селе.

И вот бреду я по ничьей земле  
и у Небытия прошу аренду.  
И ветер рвет из рук моих тепло,  
и плещет надо мной водой дуло,  
и скручивает грязь тропинки ленту.

8

Да, здесь как будто вправду нет меня.  
Я где-то в стороне, за бортом.  
Топорщится и лезет вверх стерня,  
как волосы на теле мертвом,  
и над гнездом, в траве простертом,  
вскипает муравьев возня.  
Природа расправляется с былым,  
как водится. Но лик ее при этом,  
пусть залитый закатным светом,  
неволью делается злым.  
И всюю пятернею чувств — пятью  
отталкиваюсь я от леса:  
нет, Господи! в глазах завеса,  
и я не превращусь в судью.  
А если — на беду свою —  
я все-таки с собой не слажу,  
Ты, Боже, отруби ладонь мою,  
как финн за кражу.

9

Друг Полидевк! тут все слилось в пятно.  
Из уст моих не вырвется стенанье.  
Вот я стою в распахнутом пальто,  
и мир течет в глаза сквозь решето,  
сквозь решето непониманья.

Я глуховат. Я, Боже, слеповат.  
Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт  
горит луна. Пусть так. По небесам  
я курс не проложу меж звезд и капель.  
Пусть эхо тут разносит по лесам  
не песнь, а кашель.

10

Сентябрь. Ночь. Все общество — свеча.  
Но тень еще глядит из-за плеча  
в мои листы и роется в корнях  
оборванных. И призрак твой в сенях  
шуршит и булькает водою  
и улыбается звездю  
в распахнутых рывком дверях.

11

Темнеет надо мною свет.  
Вода затягивает след.  
Да, сердце рвется все сильней к тебе,  
и оттого оно — все дальше.  
И в голосе моем все больше фальши.  
Но ты ее сочти за долг судьбе,  
за долг судьбе, не требующей крови  
и ранящей иглой тупой.  
А если ты улыбку ждешь — постой!  
Я улыбнусь. Улыбка над собой  
могильной долговечней кровли  
и легче дыма над печной трубой.

Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?  
И что здесь подо мной: вода, трава,  
отросток лиры вересковой,  
изогнутый такой подковой,  
что счастье чудится,  
такой, что, может быть,  
как перейти на иноходь с галопа  
так быстро и дыхания не сбить,  
не ведаешь ни ты, ни Каллиопа.

*1964*



## EINEM ALTEN ARCHITEKTEN IN ROM \*

I

М. Б.

В коляску — если только тень  
действительно способна сесть в коляску  
(особенно в такой дождливый день),  
и если призрак переносит тряску,  
и если лошадь упряжи не рвет —  
в коляску, под зонтом, без верха,  
мы молча взгромоздимся и вперед  
покатим по кварталам Кёнигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны.  
Дразня язык, бормочет речка смутно,  
чьи рыбки, навсегда оглушены,  
с перил моста взирают вниз, как будто  
заброшены сюда взрывной волной  
(хоть сам прилив не оставлял отметки).  
Блестит кольчугой голавель стальной.  
Деревья что-то шепчут по-немецки.

---

\* Старому зодчему в Риме (нем.).

### III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейсс.  
Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс.  
Ужель и он не слышит сзади звона?  
Трамвай бежит в свой миллионный рейс.  
Трезвонит громко и, в момент обгона,  
перекрывает звонкий стук подков.  
И, наклонясь — как в зеркало — с холмов  
развалины глядят в окно вагона.

### IV

Трепещут робко лепестки травы.  
Аканты, нимбы, голубки, голубки,  
атланты, нимфы, купидоны, львы  
смущенно прячут за спиной обрубки.  
Не пожелал бы сам Нарцисс иной  
зеркальной глади за бегущей рамой,  
где пассажиры собрались стеной,  
рискнувши стать на время амальгамой.

### V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.  
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.  
И юный археолог черепки  
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.  
Дождь моросит. Не разжимая уст,  
среди равнин, припорошенных щебнем,  
среди больших руин на скромный бюст  
Суворова ты смотришь со смущеньем.

## VI

Пир... пир бомбардировщиков утих.  
С порталов март смывает хлопья сажИ.  
То тут, то там торчат хвосты шутих.  
Стоят, навек окаменев, плюмажи.  
И если здесь поковырять — по мне,  
разбитый дом как сеновал в иголках —  
то можно счастье отыскать вполне  
под четвертичной пеленой осколков.

## VII

Клен выпускает первый клейкий лист.  
В соборе слышен пилорамы свист.  
И кашляют грачи в пустынном парке.  
Скамейки мокнут. И во все глаза  
из-за ограды смотрит вдаль коза,  
где зелень распустилась на фольварке.

## VIII

Весна глядит сквозь окна на себя.  
И узнает себя, конечно, сразу.  
И зреньем наделяет тут судьба  
все то, что недоступно глазу.  
И жизнь бушует с двух сторон стены,  
лишенная лица и черт гранита.  
Глядит вперед, поскольку нет спины...  
Хотя теней — в кустах битком набито.

## IX

Но если ты не призрак, если ты  
живая плоть, возьми урок с природы.  
И, срисовав такой пейзаж в листы,  
своей душе ищи другой структуры!  
Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит,  
разбитый в прах — и кем? — винтом  
крылатым,  
на первый раз придав ей тот же вид,  
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

## X

И пусть теперь меж чувств твоих провал  
начнет зиять. И пусть за грустью томной  
бушует страх и, скажем, злобный вал.  
Спасти сердца и стены в век атомный,  
когда скала — и та дрожит, как жердь,  
возможно нам, скрепив их той же силой  
и связью той, какой грозит им смерть;  
и вздрогнешь ты, расслышав слово: «милый».

## XI

Сравни с собой или примерь на глаз  
любовь и страсть и — через боль — истому.  
Так астронавт, пока летит на Марс,  
захочет ближе оказаться к дому.  
Но ласка та, что далека от рук,  
стреляет в мозг, когда от верст опешишь,  
проворней уст: ведь небосвод разлук  
несокрушимей потолков убежищ!

## XII

Чик, чик, чирик. Чик-чик.— Посмотришь вверх.  
И в силу грусти, а верней — привычки,  
увидишь в тонких прутьях Кёнигсберг.  
А почему б не называться птичке  
Кавказом, Римом, Кёнигсбергом, а?  
Когда вокруг — лишь кирпичи и щебень,  
предметов нет, а только есть слова.  
Но нету уст. И раздаётся щебет.

## XIII

И ты простишь нескладность слов моих.  
Сейчас от них — один скворец в ущербе.  
Но он нагонит: чик, Ich liebe dich.  
И, может быть, опередит: Ich sterbe.  
Блокнот и Цейсс в большую сумку спрячь.  
Сухой спиной повернись к флюгарке  
и зонт сложи, как будто крылья — грач.  
И только ручка выдаст хвост пулярки.

## XIV

Постромки в ключья... Лошадь где?.. Подков  
не слышен стук... Петляя там, в руинах,  
коляска катит меж пустых холмов...  
Съезжает с них куда-то вниз... Две длинных  
шлеи за ней... И вот — в песке следы  
больших колес... Шуршат кусты в засаде...

И море, гребни чьи несут черты  
того пейзажа, что остался сзади,  
бежит навстречу и, как будто весть,  
благую весть — сюда, к земной границе,—  
влечет валы. И это сходство здесь  
уничтожает в них, лаская спицы.

*1964*

\* \* \*

Дни бегут надо мной,  
словно тучи над лесом,  
у него за спиной  
сбиваясь стадом белесым.  
И, застыв над ручьем,  
без мычанья и звона,  
налегают плечом  
на ограду загона.

Горизонт на бугре  
не проронит о бегстве ни слова.  
И порой на заре  
ни клочка от былого.  
Предъявляя транзит,  
только вечер вчерашний  
торопливо скользит  
над скворешней, над пашней.

1964

\* \* \*

· М. Б.

Деревья в моем окне, в деревянном окне,  
деревню после дождя вдвойне  
окружают посредством луж  
караулом усиленным мертвых душ.

Нет под ними земли, но — листва в небесах;  
и свое отраженье в твоих глазах,  
приготовившись мысленно к дележу,  
я, как новый Чичиков, нахожу.

Мой перевернутый лес, воздавая вполне  
должное мне, вовне шарит рукой на дне.

Лодка, плывущая посуху, подскакивает на волне.  
В деревянном окне деревьев больше вдвойне.

1964



## 1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА

Волхвы забудут адрес твой.  
Не будет звезд над головой.  
И только ветра сиплый вой  
расслышишь ты, как встарь.  
Ты сбросишь тень с усталых плеч,  
задув свечу пред тем, как лечь,  
поскольку больше дней, чем свеч  
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.  
Напев, знакомый наизусть.  
Он повторяется. И пусть.  
Пусть повторится впредь.  
Пусть он звучит и в смертный час,  
как благодарность уст и глаз  
тому, что заставляет нас  
порою вдаль смотреть.

И молча глядя в потолок,  
поскольку явно пуст чулок,  
поймешь, что скупость — лишь залог  
того, что слишком стар.  
Что поздно верить чудесам.  
И, взгляд подняв свой к небесам,  
ты вдруг почувствуешь, что сам —  
чистосердечный дар.

1965

## СТИХИ НА СМЕРТЬ Т. С. ЭЛИОТА

### I

Он умер в январе, в начале года.  
Под фонарем стоял мороз у входа.  
Не успевала показать природа  
ему своих красот кордебалет.  
От снега стекла становились уже.  
Под фонарем стоял глашатай стужи.  
На перекрестках замерзали лужи.  
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве  
семейство Муз. При всем своем сиротстве,  
поэзия основана на сходстве  
бегущих вдаль однообразных дней.  
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,  
она сродни лишь эолийской нимфе,  
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме  
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без помышленья злого,  
из всех щедрот Большого Каталога  
смерть выбирает не красоты слога,  
а неизменно самого певца.  
Ей не нужны поля и перелески,  
моря во всем великолепном блеске.  
Она щедра, на небольшом отрезке  
себе позволив накоплять сердца.

На пустырях уже пылали елки,  
и выметались за порог осколки,  
и водворялись ангелы на полке.  
Католик, он дожил до Рождества.  
Но, словно море в шумный час прилива,  
за волнолом плеснувши, справедливо  
назад вбирает волны — торопливо  
от своего ушел он торжества.

Уже не Бог, а только Время, Время  
зовет его. И молодое племя  
огромных волн его движенья бремя  
на самый край цветущей бахромы  
легко возносит и, простившись, бьется  
о край земли. В избытке сил смеется.  
И январем его залив вдается  
в ту сушу дней, где остаемся мы.

## II

Читающие в лицах, маги, где вы?  
Сюда! И поддержите ореол:  
две скорбные фигуры смотрят в пол.  
Они поют. Как схожи их напевы!  
Две девы — и нельзя сказать, что девы:  
не страсть, а боль определяет пол.  
Одна похожа на Адама впол-  
оборота. Но прическа — Евы...  
Склоняя лица сонные свои,  
Америка, где он родился, и,  
и Англия, где умер он, унылы,  
стоят по сторонам его могилы.  
И туч плывут по небу корабли.

Но каждая могила — край земли.

Аполлон, сними венок.  
Положи его у ног  
Элиота как предел  
для бессмертья в мире тел.

Шум шагов и лиры звук  
будет помнить лес вокруг.  
Будет памяти служить  
только то, что будет жить.

Будут помнить лес и дол.  
Будет помнить сам Эол.  
Будет помнить каждый знак,  
как хотел Гораций Флакк.

Томас Стернс, не бойся коз!  
Безопасен сенокос.  
Память — если не гранит —  
одуванчик сохранит.

Так любовь уходит прочь.  
Навсегда. В чужую ночь.  
Прерывая крик, слова.  
Став незримой, хоть жива.

Ты ушел к другим. Но мы  
называем царством тьмы  
этот край, который скрыт.  
Это ревность так велит!

Будет помнить лес и луг.  
Будет помнить всё вокруг.  
Словно тело — мир не пуст! —  
помнит ласку рук и уст.

*12.1.1965*

## ДВА ЧАСА В РЕЗЕРВУАРЕ

Мне скушно, бес...

*А. С. Пушкин*

I

Я есть антифашист и антифауст.  
Их либе жизнь и обожаю хаос.  
Их бин хотеть, геноссе официрен,  
дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

II

Не подчиняясь польской пропаганде,  
он в Кракове грустил о Фатерланде,  
мечтал о философском диаманте  
и сомневался в собственном таланте.  
Он поднимал платочки женщин с пола.  
Он горячился по вопросам пола.  
Играл в команде факультета в поло.

Он изучал картежный катехизис  
и познавал картезианства сладость.  
Потом полез в артезианский кладезь  
эгоцентризма. Боевая хитрость,  
которой отличался Клаузевиц,  
была ему, должно быть, незнакома,  
поскольку фатер был краснодеревец.

Цумбайшпиль, бушевала глаукома,  
чума, холера унд туберкулёзен.  
Он защищался шварце папиросен.  
Его влекли цыгане или мавры.  
Потом он был помазан в бакалавры.  
Потом снискал лиценциата лавры  
и пел студентам: «Кембрий... динозавры...»

Немецкий человек, немецкий ум.  
Тем более, когито эрго сум.  
Германия, конечно, юбер аллес.  
(В ушах звучит знакомый венский вальс.)  
Он с Краковом простился без надрыва  
и покатил на дрожках торопливо  
за кафедрой и честной кружкой пива.

### III

Сверкает в тучах месяц-молодчина.  
Огромный фолиант. Над ним — мужчина.  
Чернеет меж густых бровей морщина.  
В глазах — арабских кружев чертовщина.  
В руке дрожит кордовский черный грифель.  
В углу — его рассматривает в профиль  
арабский представитель Меф-ибн-Стофель.

Пылают свечи. Мышь скребет под шкафом.  
«Герр доктор, полночь». «Яволь, шлафен,  
шлафен...»

Две черных пасти произносят: «мяу».  
Неслышно с кухни входит идиш фрау.  
В руках ее шипит омлет со шпеком.  
Герр доктор чертит адрес на конверте:  
«Готт штрафе Ингланд, Лондон, Франсис  
Бэкон».

Приходят и уходят мысли, черти.  
Приходят и уходят гости, годы...  
Потом не вспомнить платья, слов, погоды.  
Так проходили годы шито-крыто.  
Он знал арабский, но не знал санскрита.  
И с опозданием, гей, была открыта  
им айне кляйне фройляйн Маргарита.

Тогда он написал в Каир депешу,  
в которой отказал он черту душу.  
Приехал Меф, и он переоделся.  
Он в зеркало взглянул и убедился,  
что навсегда теперь переродился.  
Он взял букет и в будуар девицы  
отправился. Унд вени, види, вици.

#### IV

Их либе ясность. Я. Их либе точность.  
Их бин просить не видеть здесь порочность.  
Ви намекайт, что он любил цветочниц?  
Их понимайт, что дас ист ганце срочность.  
Но эта сделка махт дер гроссе минус.  
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:  
душа и сердце найн гехапт на вынос.

От человека, аллес, ждять напрасно:  
«остановись, мгновенье, ты прекрасно».  
Меж нами дьявол бродит ежечасно  
и поминутно этой фразы ждет.  
Однако, человек, майн либе геррен,  
настолько в сильных чувствах неуверен,  
что поминутно лжет как сивый мерин,  
но, словно Гете, маху не дает.

Унд гроссер дихтер Гете дал описку,  
чем весь сюжет подверг а ганце риску.  
И Томас Манн сгубил свою подписку,  
а шер Гуно смутил свою артистку.  
Искусство есть искусство есть искусство...  
Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.  
Ди Кунст гехапт потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти.  
Он точно знал, откуда взялись черти.  
Он съел дер дог в Ибн-Сине и в Галене.  
Он мог дас вассер осушить в колене.  
И возраст мог он указать в полене.  
Он знал, куда уходят звезд дороги.

Но доктор Фауст нихц не знал о Боге.

## V

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.  
Есть разница меж них. И есть единство.  
Одним вредит, других спасает плоть.  
Неверьс. — слепота. А чаще — свинство.

Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.  
Однако интерес у всех различен.  
Бог органичен. Да. А человек?  
А человек, должно быть, ограничен.

У человека есть свой потолок,  
держась вообщем не слишхом твердо.  
Но в сердце льстец отыщет уголок,  
и жизнь уже видна не дальше черта.



Таков был доктор Фауст. Таковы  
Марло и Гете, Томас Манн и масса  
певцов, интеллигентов унд, увы,  
читателей в среде другого класса.

Один поток сметает их следы,  
их колбы — доннерветтер! — мысли, узы...  
И дай им Бог успеть спросить: «куды?!»  
И услышать, что вслед им крикнут Музы.

А честный немец сам дер вег цурюк,  
не станет ждать, когда его попросят.  
Он вальтер достает из теплых брюк  
и навсегда уходит в вальтер-клозет.

## VI

Фройляйн, скажите, вас ист дас «инкубус»?  
Инкубус дас ист айне кляйне глобус.  
Нох гроссер дихтер Гете задал ребус!  
Унд ивиковы злые журавли,  
из веймарского выпорхнув тумана,  
ключ выхватили прямо из кармана.  
И не спасла нас зоркость Эккермана.  
И мы теперь, матрозен, на мели.

Есть истинно духовные задачи.  
А мистика есть признак неудачи  
в попытке с ними справиться. Иначе,  
их бин, не стоит это толковать.  
Цумбайшпиль, потолок — преддверье крыши.  
Поэмой больше, человеком — нище.  
Я вспоминаю Богоматерь в нише,  
обильный фриштик, поданный в кровать.

Опять Зептембер. Скука. Полнолуние.  
В ногах мурлычет серая колдунья.  
А под подушку положил колун я...  
Сейчас бы шнапсу... это.. апгемахт!  
Яволь. Зептембер. Портится характер.  
Буксует в поле тарахтящий трактор.  
Их либе жизнь и «Фелькиш Беобахтер».  
Гут нахт, майн либе геррен. Я, гут нахт.

*1965*

## ВЕЧЕРОМ

Снег сено запорошил  
сквозь щели под потолком.  
Я сено разворошил  
и встретился с мотыльком.  
Мотылек, мотылек,  
от смерти себя сберег,  
забравшись на сеновал.  
Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,  
как «летучая мышь» чадит,  
как ярко освещена  
бревенчатая стена.  
Приблизив его к лицу,  
я вижу его пыльцу  
отчетливей, чем огонь,  
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы  
мы тут совсем одни.  
И пальцы мои теплы,  
как июньские дни.

*1965*

## ПОДСВЕЧНИК

Сатир, покинув бронзовый ручей,  
сжимает канделябр на шесть свечей,  
как вещь, принадлежащую ему.  
Но, как сурово утверждает опись,  
он сам принадлежит ему. Увы,  
все виды обладанья таковы.  
Сатир — не исключенье. Посему  
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.  
А было так: он перебрался вплавь  
через поток, в чьем зеркале давно  
шестью ветвями дерево шумело.  
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал  
земле. А за спиной уничтожал  
следы поток. Просвечивало дно.  
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,  
сатир бы одиночество постиг,  
ручьям свою ненужность и земле;  
но в то мгновенье мысль его ослабла.  
Стемнело. Но из каждого угла  
«Не умер» повторяли зеркала.  
Подсвечник воцарился на столе,  
пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.  
От фотографий бронзовых вреда  
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,  
он затвердел от пейс до гениталий.  
Наверно, тем искусство и берет,  
что только уточняет, а не врет,  
поскольку основной его закон,  
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,  
что нужно чей-то сумрак озарить.  
Никто из нас другим не властелин,  
хотя поползновения зловещи.  
Не мне тебя, красавица, обнять.  
И не тебе в слезах меня пенять;  
поскольку заливает стеарин  
не мысли о вещах, но сами вещи.

*1968*

## ОДНОЙ ПОЭТЕССЕ

Я заражен нормальным классицизмом.  
А вы, мой друг, заражены сарказмом.  
Конечно, просто сделаться капризным,  
по ведомству акцизному служа.  
К тому ж, вы звали этот век железным.  
Но я не думал, говоря о разном,  
что, зараженный классицизмом трезвым,  
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.  
Зато начало многолетней тяжбе.  
Теперь и вам продвинуться по службе  
мешает Бахус, но никто другой.  
Я оставляю эту ниву тем же,  
каким взошел я на нее. Но так же  
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.  
И я для вас не шевельну рукой.

Оставим счеты. Я давно в неволе.  
Картофель ем и сплю на сеновале.  
Могу прибавить, что теперь на воре  
уже не шапка — лысина горит.  
Я эпигон и попугай. Не вы ли  
жизнь попугая от себя скрывали.  
Когда мне вышли от закона «вилы»,  
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.  
Зато само обычно так торопит,  
что по рукам бежит священный трепет  
и несомненна близость Божества.  
Один певец подготавливает рапорт.  
Другой рождает приглушенный ропот.  
А третий знает, что он сам лишь рупор.  
И он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму  
за силой жизни. Проницая призму,  
способен он лишь увеличить плазму.  
Ему, увы, не озарить ядра.  
И вот, столь долго состоя при Музах,  
я отдал предпочтенье классицизму.  
Хоть я и мог, как мистик в Сиракузах,  
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.  
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,  
в своей глуши благословляю разность:  
жужжанье ослепительной осы  
в простой ромашке вызывает робость.  
Я сознаю, что предо мною пропасть.  
И крутится сознание, как лопасть  
вокруг своей негнущейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник  
сооружает крендель. Чернокнижник  
листает толстый фолиант. А грешник  
усугубляет, что ни день, грехи.  
Влекут дельфины по волнам треножник,  
и Апдллон обзревает ближних —  
в конечном счете, безгранично внешних.  
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради  
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде  
вас, по утрам укладывают пряжи  
в большой пучок, готовясь к холодам.  
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,  
наш обоюдный интерес к природе.  
Всегда в ее дикорастущем виде.  
И удивляюсь, и грущу, мадам.

*1965*



## ПРОРОЧЕСТВО

М. Б.

Мы будем жить с тобой на берегу,  
отгородившись высоченной дамбой  
от континента, в небольшом кругу,  
сооруженном самодельной лампой.  
Мы будем в карты воевать с тобой  
и слушать, как безумствует прибой,  
покашливать, вздыхая неприметно,  
при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода.  
Но выйдет так, как учат пионеры,  
что счет пойдет на дни — не на года,—  
оставшиеся нам до новой эры.  
В Голландии своей, наоборот,  
мы разведем с тобою огород  
и будем устриц жарить за порогом  
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,  
мы загорим с тобой по-эскимосски,  
и с нежностью ты пальцем проведешь  
по девственной, нетронутой полоске.  
Я на ключицу в зеркало взгляну  
и обнаружу за спиной волну  
и старый гейгер в оловянной рамке  
на выцветшей и пропотевшей лямке.

Придет зима, безжалостно крутя  
осоку нашей кровли деревянной.  
И если мы произведем дитя,  
то назовем Андреем или Анной,  
чтоб, к сморщенному личику привит,  
не позабыт был русский алфавит,  
чей первый звук от выдоха продлится  
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот  
нас вместе с козырями отнесет  
от берега извилистость отлива.  
И наш ребенок будет молчаливо  
смотреть, не понимая ничего,  
как мотылек колотится о лампу,  
когда настанет время для него  
обратно перебраться через дамбу.

*1965*

## ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на тыщу с лишним мест не так уж безнадежен: это — храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее. Смотрел в окно и видел Греческую церковь. Все началось с татарских разговоров; а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре — заглушившие ее.

В церковный садик въехал экскаватор  
с подвешенной к стреле чугунной гирей.  
И стены стали тихо поддаваться.  
Смешно не поддаваться, если ты  
стена, а пред тобою — разрушитель.

К тому же, экскаватор мог считать  
ее предметом неодушевленным  
и, до известной степени, подобным  
себе. А в неодушевленном мире  
не принято давать друг другу сдачи.  
Потом — туда согнали самосвалы,  
бульдозеры... И как-то в поздний час  
сидел я на развалинах абсиды.  
В провалах алтаря зияла ночь.  
И я — сквозь эти дыры в алтаре —  
смотрел на убегавшие трамваи,  
на вереницу тусклых фонарей.  
И то, чего вообще не встретишь в церкви,  
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,  
точнее — после нас, на нашем месте  
возникнет тоже что-нибудь такое,  
чему любой, кто знал нас, ужаснется.  
Но знавших нас не будет слишком много.  
Вот так, по старой памяти, собаки  
на прежнем месте задирают лапу.  
Ограда снесена давным-давно,  
но им, должно быть, грезится ограда.  
Их грезы перечеркивают явь.  
А может быть, земля хранит тот запах:  
асфальту не осилить запах псины.  
И что им этот безобразный дом!  
Для них тут садик, говорят вам — садик.

А то, что очевидно для людей,  
собакам совершенно безразлично.  
Вот это и зовут: «собачья верность».  
И если довелось мне говорить  
всерьез об эстафете поколений,  
то верю только в эту эстафету.  
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,  
да и вообще — вне Греции — их мало.  
По крайней мере, мало для того,  
чтоб сохранить сооруженья веры.  
А верить в то, что мы сооружаем,  
от них никто не требует. Одно,  
должно быть, дело нацию крестить,  
а крест нести — уже совсем другое.  
У них одна обязанность была.  
Они ее исполнить не сумели.  
Непаханое поле заросло.  
«Ты, сеятель, храни свою соху,  
а мы решим, когда нам колоситься».  
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно  
и думаю о том, куда зашли мы?  
И от чего мы больше далеки:  
от православья или эллинизма?  
К чему близки мы? Что там, впереди?  
Не ждет ли нас теперь другая эра?  
И если так, то в чем наш общий долг?  
И что должны мы принести ей в жертву?

\* \* \*

Сумев отгородиться от людей,  
я от себя хочу отгородиться.  
Не изгородь из тесаных жердѐй,  
а зеркало тут больше пригодится.  
Я озираю хмурые черты,  
щетину, бугорки на подбородке.  
Трельяж для разводящейся четы,  
пожалуй, лучший вид перегородки.  
В него влезают сумерки в окне,  
край пахоты с огромными скворцами  
и озеро — как брешь в стене,  
увенчанной еловыми зубцами.  
Того гляди,  
        что из озерных дыр  
да и вообще — через любую лужу  
сюда ползет посторонний мир.  
Иль этот уползет наружу.

1966

## ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ

Скучен вам, стихи мои, ящик...

*Кантемир*

Не хотите спать в столе. Прытко  
возражаете: «Быв здраву,  
корчиться в земле суть пытка».  
Отпускаю вас. А что ж? Праву  
на свободу возражать — грех. Мне же  
хватит и других — здесь, мыслю,  
не стихов: грехов. Все реже  
сочиняю вас. Да вот, кислу  
мину позабыл аж даве  
сделать на вопрос: «Как вирши?  
Прибавляете лучей к славе?»  
Прибавляю, говорю. Вы же  
оставляете меня. Что ж! Дай вам  
Бог того, что мне ждать поздно.  
Счастья, мыслю я. Даром,  
что я сам вас сотворил. Розно  
с вами мы пойдем: вы — к людям,  
я — туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.  
Не боюсь за вас; есть средство  
вам перенести путь долгий:  
милые стихи, в вас сердце  
я свое вложил. Коль в Лету  
канет, то скорбеть мне перву.  
Но из двух оправ — я эту

смело предпочел сему перлу.  
Вы и краше и добрей. Вы тверже  
тела моего. Вы проще  
горьких моих дум, что тоже  
много вам придаст сил, мощи.  
Будут за всё то вас, верю,  
более любить, чем ноне  
вашего творца. Все двери  
настежь будут вам всегда. Но не  
грустно эдак мне слыть нищу:  
я войду в одне. Вы — в тыщу.

1967



## ПРОЩАЙТЕ, МАДМУАЗЕЛЬ ВЕРОНИКА

### I

Если кончу дни под крылом голубки,  
что вполне реально, раз мясорубки  
становятся роскошью малых наций —  
после множества комбинаций  
Марс перемещается ближе к пальмам;  
а сам я мухи не трону пальцем  
даже в ее апогей, в июле —  
словом, если я не умру от пули,  
если умру в постели, в пижаме,  
ибо принадлежу к великой державе,

### II

то лет через двадцать, когда мой отпрыск,  
не сумев отоварить лавровый отблеск,  
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь  
бросить свое семейство — через  
двадцать лет, окружен опекой  
по причине безумия, в дом с аптекой  
я приду пешком, если хватит силы,  
за единственным, что о тебе в России  
мне напомнит. Хоть против правил  
возвращаться за тем, что другой оставил.

### III

Это в сфере нравов сочтут прогрессом.  
Через двадцать лет я приду за креслом,  
на котором ты предо мной сидела  
в день, когда для Христова тела  
завершались распятия муки —  
в пятый день Страстной ты сидела, руки  
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.  
И на всех перекрестках белели вербы.  
Ты сложила руки на зелень платья,  
не рискуя их раскрывать в объятья.

### IV

Данная поза, при всей приязни,  
это лучшая гемма для нашей жизни.  
И она — отнюдь не неподвижность. Это —  
апофеоз в нас самих предмета,  
замена смиренья простым покоем.  
То есть, новый вид христианства, коим  
долг дорожить и стоять на страже  
тех, кто, должно быть, способен даже,  
когда придет Гавриил с трубою,  
мертвый предмет продолжать собою!

### V

У пророков не принято быть здоровым.  
Прорицатели в массе увечны. Словом,  
я не более зряч, чем назонов Калхас.  
Потому — прорицать все равно что кактус

или львиный зев подносить к забралу,  
все равно, что учить алфавит по Брайлю.  
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,  
на тебя похожих на ошупь в мире,  
что называется, кот наплакал.  
Каковы твои жертвы, таков оракул.

## VI

Ты, несомненно, простишь мне этот  
гаерский тон. Это — лучший метод  
сильные чувства спасти от массы  
слабых. Греческий принцип маски  
снова в ходу. Ибо в наше время  
сильные гибнут. Тогда как племя  
слабых плодится, и врозь, и оптом.  
Прими же сегодня как мой постскрипtum  
к теории Дарвина, столь пожухлой,  
эту новую правду джунглей.

## VII

Через двадцать лет — ибо легче вспомнить  
то, что отсутствует, чем восполнить  
это чем-то иным снаружи.  
Ибо отсутствие права хуже,  
чем твое отсутствие — новый Гоголь,  
насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь,  
без оглядки вспять, без былой опаски,—  
как волшебный фонарь Христовой Пасхи  
оживляет под звуки воды из крана  
спинку кресла пустого, как холст экрана.

## VIII

В нашем прошлом величье, в грядущем — проза.  
Ибо с кресла пустого не больше спроса,  
чем с тебя, в нем сидевшей Ла Гарды тише,  
руки сложив, как писал я выше.  
Впрочем, в сумме своей наших дней объятья  
много меньше раскинутых рук распятыя.  
Так что эта находка певца хромого  
сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого,  
предо мной маячит подобьем вето  
на прыжки в девяностые годы века.

## IX

Если меня не спасет та птичка,  
то есть если она не снесет яичка  
и в сем лабиринте без Ариадны  
(ибо у смерти есть варианты,  
предвидеть которые — тоже доблесть)  
я останусь один и, увы, сподоблюсь  
холеры, доноса, отправки в лагерь —  
то если только не ложь, что Лазарь  
был воскрешен, то я сам воскресну.  
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.

## X

Впрочем, спешка глупа и греховна. Vale!  
То есть некуда так поспешать. Едва ли  
может крепкому креслу грозить погибель.  
Ибо у нас, на Востоке, мебель

служит трем поколениям кряду.  
А я исключая пожар и кражу.  
Страшней, что смешать его могут с кучей  
других при уборке. На этот случай  
я даже сделать готов зарубки,  
изобразив голубкá голúbки.

## XI

Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,  
по общим орбитам столов и стульев  
кресло твое по ночной столовой.  
Клеймо — не позор, а основа новой  
астрономии, что — перейдем на шепот —  
подтверждает армейско-тюремный опыт:  
заклейменные вещи — источник твердых  
взглядов на мир у живых и мертвых.  
Так что мне не взирать, как в подобны лица,  
на похожие кресла с тоской Улисса.

## XII

Я — не сборщик реликвий. Подумай, если  
эта речь длинновата, что речь о кресле  
только повод проникнуть в другие сферы.  
Ибо от всякой великой веры  
остаются, как правило, только мощи.  
Так суди же о силе любви, коль вещи  
те, к которым ты прикоснулась ныне,  
превращаю — при жизни твоей — в  
святыни.

Посмотри: доказуют такие нравы  
не величье певца, но его державы.

### XIII

Русский орел, потеряв корону,  
напоминает сейчас ворону.  
Его, горделивый недавно, клекот  
теперь превратился в картавый рокот.  
Это — старость орлов или — голос страсти,  
обернувшейся следствием, эхом власти.  
И любовная песня — немногим тише.  
Любовь — имперское чувство. Ты же  
такова, что Россия, к своей удаче,  
говорить не может с тобой иначе.

### XIV

Кресло стоит и вбирает теплый  
воздух прихожей. В стояк за каплей  
падает капля из крана. Скромно  
стрекочет будильник под лампой. Ровно  
падает свет на пустые стены  
и на цветы у окна, чьи тени  
стремятся за раму продлить квартиру.  
И вместе всё создает картину  
того в этот миг — и вдали, и возле —  
как было до нас. И как будет после.

### XV

Доброй ночи тебе, да и мне — не бденья.  
Доброй ночи стране моей для сведенья  
личных счетов со мной пожелай оттуда,  
где посредством верст или просто чуда  
ты превратишься в почтовый адрес.  
Деревья шумят за окном, и абрис

крыш представляет границу суток...  
В неподвижном теле порой рассудок  
открывает в руке, как в печи, заслонку.  
И перо за тобою бежит вдогонку.

## XVI

Не догонит!.. Поелику ты как облак.  
То есть, облик девы, конечно, облик  
души для мужчины. Не так ли, Муза?  
В этом причины и смерть союза.  
Ибо души — бесплотны. Ну что ж. Тем  
дальше  
ты от меня. Не догонит!.. Дай же  
на прощание руку. На том спасибо.  
Величава наша разлука, ибо  
навсегда расстаеться. Смолкает цитра.  
Навсегда — не слово, а вправду цифра,  
  
чьи нули, когда мы зарастем травой,  
перекроют эпоху и век с лихвою.

1967

## ФОНТАН

Из пасти льва  
струя не журчит и не слышно рыка.  
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,  
никаких голосов. Неподвижна листва.  
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,  
и нова.

Пересохли уста,  
и гортань проржавела: металл не вечен.  
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,  
хоронящийся в куцах, в конце хвоста,  
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;  
из куста  
сонм теней  
выбегает к фонтану, как львы из чащи.  
Окружают сородича, спящего в центре чаши,  
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,  
лижут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,  
тем темней  
грозный облик. И вот  
наконец он сливается с ними и резко  
оживает и прыгает вниз. И все общество резво  
убегает во тьму. Небосвод  
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво  
назовет  
похищение вождя —  
так как первые капли блестят на скамейке —



назовет похищение вождя приближеньем дождя.

Дождь спускает на землю косые линейки,  
строя в воздухе сеть или клетку для львиной  
семейки

без узла и гвоздя.

Теплый

дождь

моросит;

Как и льву, им гортань

не остудишь.

Ты не будешь любим и забыт не будешь.

И тебя в поздний час из земли воскресит,  
если чудищем был ты, компания чудищ.

Разгласит

твой побег

дождь и снег.

И, не склонный к простуде,

все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.

Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.

Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие  
люди

и голубки — в ковчег.

## СОНЕТ

Как жаль, что тем, чем стало для меня  
твое существование, не стало  
мое существованье для тебя.

...В который раз на старом пустыре  
я запускаю в проволочный космос  
свой медный грош, увенчанный гербом,  
в отчаянной попытке возвеличить  
момент соединения... Увы,  
тому, кто не способен заменить  
собой весь мир, обычно остается  
крутить щербатый телефонный диск,  
как стол на спиритическом сеансе,  
покуда призрак не ответит эхом  
последним воплям зуммера в ночи.

*1967*

## РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ МОЛОКЕ

1

1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.  
Издатель тянет с моим романом.  
Календарь Москвы заражен Кораном.  
Не могу я встать и поехать в гости  
ни к приятелю, у которого плачут детки,  
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.  
Всюду необходимы деньги.  
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2

Ах, проклятое ремесло поэта.  
Телефон молчит, впереди диета.  
Можно в месткome занять, но это  
— все равно, что занять у бабы.  
Потерять независимость много хуже,  
чем потерять невинность. Вчуже  
полагаю, приятно мечтать о муже,  
приятно произносить «пора бы».

## 3

Зная мой статус, моя невеста  
 пятый год за меня ни с места;  
 и где она нынче, мне неизвестно:  
 правды сам черт из нее не выьбьет.  
 Она говорит: «Не горюй напрасно.  
 Главное — чувства! Единогласно?»  
 И это с ее стороны прекрасно.  
 Но сама она, видимо, там, где выпьет.

## 4

Я вообще отношусь с недоверьем к  
 ближним.  
 Оскорбляю кухню желудком лишним.  
 В довершение всего досаждаю личным  
 взглядом на роль человека в жизни.  
 Они считают меня бандитом,  
 издеваются над моим аппетитом.  
 Я не пользуюсь у них кредитом.  
 «Наливайте ему пожиже!»

## 5

Я вижу в стекле себя холостого.  
 Я факта в толк не возьму простого,  
 как дожил до от Рождества Христова  
 Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.  
 Двадцать шесть лет непрерывной тряски,  
 рытья по карманам, судейской таски,  
 ученья строить Закону глазки,  
 изображать немого.

## 6

Жизнь вокруг идет как по маслу.  
 (Подразумеваю, конечно, массу.)  
 Маркс оправдывается. Но, по Марксу,  
 давно пора бы меня зарезать.  
 Я не знаю, в чью пользу сальдо.  
 Мое существование парадоксально.  
 Я делаю из эпохи сальто.  
 Извините меня за резвость!

## 7

То есть, все основания быть спокойным.  
 Никто уже не кричит: «По коням!»  
 Дворяне выведены под корень.  
 Ни тебе Пугача, ни Стеньки.  
 Зимний взят, если верить байке.  
 Джугашвили хранится в консервной банке.  
 Молчит оружие на полубаке.  
 В голове моей — только деньги.

## 8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,  
 в полу, в чулках, в потолочных балках,  
 в несгораемых кассах, в почтовых бланках.  
 Наводняют собой Природу!  
 Шумят пачки новеньких ассигнаций,  
 словно вершины берез, акаций.  
 Я весь во власти галлюцинаций.  
 Дайте мне кислороду!

Ночь. Шуршание снегопада.  
 Мостовую тихо скребет лопата.  
 В окне напротив горит лампада.  
 Я торчу на стальной пружине.  
 Вижу только лампаду. Зато икону  
 я не вижу. Я подхожу к балкону.  
 Снег на крыши кладет попону,  
 и дома стоят, как чужие.

11

10

Равенство, брат, исключает братство.  
 В этом следует разобраться.  
 Рабство всегда порождает рабство.  
 Даже с помощью революций.  
 Капиталист развел коммунистов.  
 Коммунисты превратились в министров.  
 Последние плодят морфинистов.  
 Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плывет золотая рыбка.  
 Маркс в производстве не вяжет лыка.  
 Труд не является товаром рынка.  
 Так говорить — оскорблять рабочих.  
 Труд — это цель бытия и форма.  
 Деньги — как бы его платформа.  
 Нечто помимо путей прокорма.  
 Размотаем клубочек.

## 12

Вещи больше, чем их оценки.  
 Сейчас экономика просто в центре.  
 Объединяет нас вместо церкви,  
 Объясняет наши поступки.  
 В общем, каждая единица  
 по своему существу — девица.  
 Она желает объединиться.  
 Брюки просятся к юбке.

## 13

Шарик обычно стремится в лузу.  
 (Я, вероятно, терзаю Музу.)  
 Не Конкуренции, но Союзу  
 принадлежит прекрасное завтра.  
 (Я отнюдь не стремлюсь в пророки.  
 Очень возможно, что эти строки  
 сократят ожидания сроки:  
 «Год засчитывать за два».)

## 14

Пробил час, и пора настала  
 для брачных уз Труда — Капитала.  
 Блеск презируемого металла  
 (далее — изображение в лицах)  
 приятней, чем пустота карманов,  
 проще, чем чехарда тиранов,  
 лучше цивилизации наркоманов,  
 общества, выросшего на шприцах.

Грех первородства — не суть сиротства.  
 Многим, бесспорно, любезней скотство.  
 Проще различье найти, чем сходство:  
 «У Труда с Капиталом контактов нету».  
 Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,  
 Хватит трепаться о пополаме.  
 Есть влечение между полами.  
 Полюса создают планету.

Как холостяк я грущу о браке.  
 Не жду, разумеется, чуда в раке.  
 В семье есть ямы и буераки.  
 Но супруги — единственный тип владельцев  
 того, что они создают в уславе.  
 Им не требуется «не укради».  
 Иначе все пойдем Христа ради.  
 Поберегите своих младенцев!

Мне, как поэту, все это чуждо.  
 Больше: я знаю, что «коемуждо...».  
 Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,  
 неужто я против законной власти?  
 Время спасет, коль они не правы.  
 Мне хватает скандальной славы.  
 Но плохая политика портит нравы.  
 Это уж — по нашей части!



Деньги похожи на добродетель.  
 Не падая сверху — Аллах свидетель —  
 деньги чаще летят на ветер  
 не хуже честного слова.  
 Ими не следует одолжаться.  
 С нами в гроб они не ложатся.  
 Им предписано умножаться,  
 словно в баснях Крылова.

Задние мысли сильнее передних.  
 Любая душа переплюнет ледник.  
 Конечно, обществу проповедник  
 нужней, чем слесарь, науки.  
 Но, пока нигде не слышать пророка,  
 предлагаю — дабы еще до срока  
 не угодить в объятья порока —  
 займите чем-нибудь руки.

Я не занят, в общем, чужим блаженством.  
 Это выглядит красивым жестом.  
 Я занят внутренним совершенством:  
 полночь — полбанки — лира.  
 Для меня деревья дороже леса.  
 У меня нет общего интереса.  
 Но скорость внутреннего прогресса  
 больше, чем скорость мира.

Это — основа любой известной изоляции. Дружба с бездной представляет сугубо местный интерес в наши дни. К тому же, это свойство несовместимо с братством, равенством и, вестимо, благородством невозместимо, недопустимо в муже.

Так, тоскуя о превосходстве, как Топтыгин на воеводстве, я пою вам о производстве. Буде указанный выше способ всеми правильно будет понят, общество лучших сынов нагонит, факел разума не уронит, осчастливит любую особь.

Иначе — верх возьмут телепаты, буддисты, спириты, препараты, фрейдисты, неврологи, психопаты. Кайф, состояние эйфории диктовать нам будет свои законы. Наркоманы прицепят себе погоны. Шприц повесят вместо иконы Спасителя и Святой Марии.

Душу затянут большой вуалью.  
 Объединят нас сплошной спиралью.  
 Воткнут в розетку с этил-моралью.  
 Речь освободят от глагола.  
 Благодаря хорошему зелью,  
 закружимся в облаках каруселью.  
 Будем опускаться на землю  
 исключительно для укола.

Я уже вижу наш мир, который  
 покрыт паутиной лабораторий.  
 А паутиною траекторий  
 покрыт потолок. Как быстро!  
 Это неприятно для глаза.  
 Человечество увеличивается в три раза.  
 В опасности белая раса.  
 Неизбежно смертоубийство.

Либо нас перережут цветные.  
 Либо мы их сошлем в иные  
 миры. Вернемся в свои пивные.  
 Но то и другое — не христианство.  
 Православные! это не дело.  
 Что вы смотрите обалдело?!  
 Мы бы предали Божье Тело,  
 расчищая себе пространство.

Я не воспитывался на софистах.  
 Есть что-то дамское в пацифистах.  
 Но чистых отделять от нечистых —  
 не наше право, поверьте.  
 Я не указываю на скрижали.  
 Цветные нас, бесспорно, прижали.  
 Но не мы их на свет рожали,  
 не нам предавать их смерти.

Важно многим создать удобства.  
 (Это можно найти у Гоббса.)  
 Я сижу на стуле, считаю до ста.  
 Чистка — грязная процедура.  
 Не принято плясать на могиле.  
 Создать изобилие в тесном мире —  
 это по-христиански. Или:  
 в этом и состоит Культура.

Нынче поклонники оборота  
 «Религия — опиум для народа»  
 поняли, что им дана свобода,  
 дожили до золотого века.  
 Но в таком реестре (издержки слога)  
 свобода не выбрать — весьма убога.  
 Обычно тот, кто плюет на Бога,  
 плюет сначала на человека.

«Бога нет. А земля в ухабах».  
 «Да, не видать. Отключусь на бабах».  
 Творец, творящий в таких масштабах,  
 делает слишком большие рейды  
 между объектами. Так что то, что  
*там* Его царствие,— это точно.  
 Оно от мира сего заочно.  
 Сядьте на свои табуреты!

Ночь. Переулок. Мороз блокады.  
 Вдоль тротуаров лежат карпаты.  
 Планеты раскачиваются как лампы,  
 которые Бог возжег в небосводе  
 в благоговеньи Своем великом  
 перед непознанным нами ликом  
 (поэзия делает смотр уликам),  
 как в огромном кивоте.

В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.  
 Ярким блеском горят кастрюли.  
 Я прикладываюсь к микстуре.  
 Нерв разошелся, как черт в сосуде.  
 Ощущаю легкий пожар в затылке.  
 Вспоминаю выпитые бутылки,  
 вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.  
 Не хочу возражать по сути.

Я сижу на стуле в большой квартире.  
 Ниагара клокочет в пустом сортире.  
 Я себя ощущаю мишенью в тире,  
 вздрагиваю при малейшем стуке.  
 Я закрыл парадное на засов, но  
 ночь в меня целит рогами Овна,  
 словно Амур из лука, словно  
 Сталин в XVII-ый съезд из «тулки».

Я включаю газ, согреваю кости.  
 Я сижу на стуле, трясусь от злости.  
 Не желаю искать жемчуга в компосте!  
 Я беру на себя эту смелость!  
 Пусть изучает навоз кто хочет.  
 Патриот, господа, не крыловский кочет.  
 Пусть КГБ на меня не дробит.  
 Не брэнчи ты в подкладке, мелочь!

Я дышу серебром и харкаю медью!  
 Меня ловят багром и дырявой сетью.  
 Я дразню гусей и иду к бессмертью,  
 дайте мне хворостину!  
 Я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека!  
 Выносите святых и портрет Генсека!  
 Раздается в лесу топор дровосека!  
 Поваляюсь в сугробе, авось остыну.

Ничего не остыну! Вообще забудьте!  
 Я помышляю почти о бунте!  
 Не присягал я косому Будде,  
 за червонец помчусь за зайцем!  
 Пусть закроется — где стамеска! —  
 яснополянская хлеборезка!  
 Непротивленья, панове, мерзко.  
 Это мне — как серпом по яйцам!

Как Аристотель на дне колодца,  
 откуда не ведаю что берется.  
 Зло существует, чтоб с ним бороться,  
 а не взвешивать в коромысле.  
 Всех, скорбящих по индивиду,  
 всех, подверженных конъюнктивиту,—  
 всех к той матери по алфавиту:  
 демократия в полном смысле!

Я люблю родные поля, лощины,  
 реки, озера, холмов морщины.  
 Все хорошо; но дерьмо мужчины:  
 в теле, а духом слабы.  
 Это я верный закон накнокал.  
 Все утирается ясный сокол.  
 Господа, разбейте хоть пару стекол!  
 Как только терпят бабы?

Грустная ночь у меня сегодня.  
Смотрит с обоев былая сотня.  
Можно поехать в бордель, и сводня —  
нумизматка — будет согласна.  
Лень отклеивать, суетиться.  
Остается тихо сидеть, поститься  
да напротив в окно креститься,  
пока оно не погасло.

«Зелень лета, эх, зелень лета!  
Что мне шепчет куст бересклета?  
Хорошо пройтись без жилета!  
Зелень лета вернется.  
Ходит девочка, эх, в платочке.  
Ходит по полю, рвет цветочки.  
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.  
В небе ласточка вьется».

*Январь, 1967 г.*



## К ЛИКОМЕДУ, НА СКИРОС

М. Б.

Я покидаю город, как Тезей —  
свой лабиринт, оставив Минотавра  
смердеть, а Ариадну — ворковать  
в объятьях Вакха.

Вот она, победа!

Апофеоз подвижничества. Бог  
как раз тогда подстраивает встречу,  
когда мы, в центре завершив дела,  
уже бредем по пустырю с добычей,  
навек уходя из этих мест,  
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.  
Долг смертных ополчаться на чудовищ.  
Но кто сказал, что чудища бессмертны?  
И, дабы не могли мы возомнить  
себя отличными от побежденных,  
Бог отнимает всякую награду,  
тайком от глаз ликующей толпы,  
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.  
Ведь если может человек вернуться  
на место преступления, то туда,  
где был унижен, он придти не сможет.  
И в этом пункте планы Божества

и наше ощущение униженья  
настолько абсолютно совпадают,  
что за спиною остаются: ночь,  
смердящий зверь, ликующие толпы,  
дома, огни. И Вакх на пустыре  
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться...  
Назад. Домой. К родному очагу.  
И ляжет путь мой через этот город.  
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной  
двуострого меча, поскольку город  
обычно начинается для тех,  
кто в нем живет,  
с центральных площадей  
и башен.

А для странника — с окраин.

*1967*

## СТРОФЫ

### I

На прощанье — ни звука.  
Граммфон за стеной.  
В этом мире разлука —  
лишь прообраз иной.  
Ибо врозь, а не подле  
мало веки смежать  
вплоть до смерти: и после  
нам не вместе лежать.

### II

Кто бы ни был виновен,  
но, идя на правед,  
воздаяния ровень  
с невиновным не ждешь.  
Тем верней расстаемся,  
что имеем в виду,  
что в раю не сойдемся,  
не столкнемся в аду.

### III

Как подзол раздирает  
бороздою соха,  
правога разделяет  
беспощадней греха.  
Не вина, но оплошность  
разбивает стекло.  
Что скорбеть, расколовшись,  
что вино утекло?

### IV

Чем тесней единенье,  
тем кромешней разрыв.  
Не спасет затемненья  
ни рапид, ни наплыв.  
В нашей твердости толка  
больше нету. В чести  
одаренность осколка  
жизнь сосуда вести.

### V

Наполняйся же хмелем,  
осушайся до дна.  
Только емкость поделим,  
но не крепость вина.  
Да и я не загублен,  
даже ежели впредь,  
кроме сходства зазубрин,  
общих черт не узреть.

## VI

Нет деленья на чуждых.  
Есть граница стыда  
в виде разницы в чувствах  
при словце «никогда».  
Так скорбим, но хороним;  
переходим к делам,  
чтобы смерть, как синоним,  
разделить пополам.

## VII

Распадаются дома,  
обрывается нить.  
Чем мы были и что мы  
не смогли сохранить?  
Промолчишь поневоле,  
коль с течением дней  
лишь подробности боли,  
а не счастья видней.

## VIII

Невозможность свиданья  
превращает страну  
в вариант мирозданья,  
хоть она в ширину,  
завидушая к славе,  
не уступит любой  
залетейской державе,  
превзойдет голытьбой.

## IX

Только то и тревожит,  
что грядущий режим,  
не испытан, не прожит,  
но умом постижим.  
И нехватка боязни  
— невесомый балласт —  
вознесенья от казни  
обособить не даст.

## X

Что ж без пользы неволишь  
уничтожить следы?  
Эти строки всего лишь  
подголосок беды.  
Обрастание сплетней  
подтверждает к тому ж:  
расставанье заметней,  
чем слияние душ.

## XI

И, чтоб гончим не выдал  
— ни моим, ни твоим —  
адрес мой храпоидол  
или твой — херувим,  
на прощанье — ни звука;  
только хор Аонид.  
Так посмертная мука  
и при жизни саднит.

М. Б.

Провинция справляет Рождество.  
Дворец Наместника увит омелой,  
и факелы дымятся у крыльца.  
В проулках — толчея и озорство.  
Веселый, праздный, грязный, очумелый  
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,  
покрытый шалью, взятой в Альказаре,  
где он служил, он размышляет о  
жене и о своем секретаре,  
внизу гостей приветствующих в зале.  
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе  
болезней, снов, отсрочки перевода  
на службу в Метрополию. Зане  
он знает, что для праздника толпе  
совсем не обязательна свобода;  
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем  
он думал бы, когда б его не грызли  
тоска, припадки? Если бы любил?  
Невольно зябко поводя плечом,  
он гонит прочь пугающие мысли.  
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все же длится. Сильно опьянев,  
вожди племен стеклянными глазами  
взирают в даль, лишенную врага.  
Их зубы, выразившие их гнев,  
как колесо, что сжато тормозами,  
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне  
кричит купец. Звучат обрывки песен.  
Жена Наместника с секретарем  
выскальзывают в сад. И на стене  
орел имперский, выклевавший печень  
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,  
пересекавший на осле экватор,  
смотрю в окно на спящие холмы  
и думаю о сходстве наших бед:  
его не хочет видеть Император,  
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу  
гордыня не возвысит до улики,  
что отошли от образа Творца.  
Все будут одинаковы в гробу.  
Так будем хоть при жизни разнолики!  
Зачем куда-то рваться из дворца —

отчизне мы не судьи. Меч суда  
погрязнет в нашем собственном позоре:  
наследники и власть в чужих руках...  
Как хорошо, что не плывут суда!  
Как хорошо, что замерзает море!  
Как хорошо, что птицы в облаках



субтильны для столь тягостных телес!  
Такого не поставишь в укоризну.  
Но, может быть, находится как раз  
к их голосам в пропорции наш вес.  
Пушай летят поэтому в отчизну.  
Пушай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа  
у Цинтии в гостях над колыбелью  
склоняются, как новые волхвы.  
Младенец дремлет. Теплится звезда,  
как уголь под остывшею купелью.  
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,  
а непорочное зачатие — сплетней,  
фигурой умолчанья об отце...  
Дворец пустеет. Гаснут этажи.  
Один. Другой. И, наконец, последний.  
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,  
смотрю, как диск луны по редколесью  
скользит, и вижу — Цинтию, снега;  
Наместника, который за стеной  
всю ночь беззвучно борется с болезнью  
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,  
чуть занимаясь на задворках мира,  
вползает в окна, норовя взглянуть  
на то, что совершается внутри,  
и, натываясь на остатки пира,  
колеблется. Но продолжает путь.

*Январь, 1968 г. Паланга*

## ЭЛЕГИЯ

М. Б.

Подруга милая, кабак все тот же,  
все та же дрянь красуется на стенах,  
все те же цены. Лучше ли вино?  
Не думаю; не лучше и не хуже.  
Прогресса нет, и хорошо, что нет.

Пилот почтовой линии, один,  
как падший ангел, глушит водку. Скрипки  
еще по старой памяти волнуют  
мое воображение. В окне  
маячат белые, как девство, крыши,  
и колокол гудит. Уже темно.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух  
уже не отличает лжи от правды,  
а требует каких-то новых слов,  
неведомых тебе — глухих, чужих,  
но быть произнесенными могущих,  
как прежде, только голосом твоим.

1968

## ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В ЯЛТЕ

Сухое левантинское лицо,  
упрятанное оспинками в бачки,  
когда он ищет сигарету в пачке,  
на безымянном тусклое кольцо  
внезапно преломляет двести ватт,  
и мой хрусталик вспышки не выносит;  
я жмурюсь — и тогда он произносит,  
глотаая дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский брег  
зима приходит как бы для забавы:  
не в состояньи удержаться снег  
на лезвиях и остриях агавы.  
Пустуют рестораны. Дымят  
ихтиозавры грязные на рейде,  
и прелых лавров слышен аромат.  
«Налить вам этой мерзости?» «Налейте».

Итак — улыбка, сумерки, графин.  
Вдали буфетчик, стискивая руки,  
дает круги, как молодой дельфин  
вокруг хамсой заполненной фелюки.  
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.  
Снежинки, проносящиеся мимо.  
Остановись, мгновенье! Ты не столь  
прекрасно, сколько ты неповторимо.

*Январь, 1969 г.*

## ДИДОНА И ЭНЕЙ

Великий человек смотрел в окно,  
а для нее весь мир кончался краем  
его широкой греческой туники,  
обильем складок походившей на  
остановившееся море.

Он же  
смотрел в окно, и взгляд его сейчас  
был так далек от этих мест, что губы  
застыли точно раковина, где  
таится гул, и горизонт в бокале  
был неподвижен.

А ее любовь  
была лишь рыбой — может, и способной  
пуститься в море вслед за кораблем  
и, рассекая волны гибким телом,  
возможно, обогнать его, — но он,  
он мысленно уже ступил на сушу.  
И море обернулось морем слез.  
Но, как известно, именно в минуту  
отчаянья и начинает дуть  
попутный ветер. И великий муж  
покинул Карфаген.

Она стояла  
перед костром, который разожгли  
под городской стеной ее солдаты,

и видела, как в мареве костра,  
дрожащем между пламенем и дымом,  
беззвучно распадался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

*1969*

## ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

В былые дни и я переживал  
холодный дождь под колоннадой Биржи.  
И полагал, что это — Божий дар.  
И, может быть, не ошибался. Был же  
и я когда-то счастлив. Жил в плену  
у ангелов. Ходил на вурдалаков.  
Сбегавшую по лестнице одну  
красавицу в парадном, как Иаков,  
подстерегал.

Куда-то навсегда  
ушло все это. Спряталось. Однако,  
смотрю в окно и, написав «куда»,  
не ставлю вопросительного знака.  
Теперь сентябрь. Передо мною — сад.  
Далекий гром закладывает уши.  
В густой листве налившись груши,  
как мужеские признаки, висят.  
И только ливень в дремлющий мой ум,  
как в кухню дальних родственников —  
скаред,  
мой слух об эту пору пропускает:  
не музыку еще, уже не шум.

*Осенью, 1968 г.*

## С ВИДОМ НА МОРЕ

*И. Н. Медведевой*

### I

Октябрь. Море поутру  
лежит щекой на волнорезе.  
Стручки акаций на ветру,  
как дождь на кровельном железе,  
чечетку выбивают. Луч  
светила, вставшего из моря,  
скорей пронзителен, чем жгуч;  
его пронзительности вторя,  
на весла севшие гребцы  
глядят на снежные зубцы.

### II

Покуда храбрая рука  
зюйд-веста о незримых пальцах  
расчесывает облака,  
в агавах взрывчатых и пальмах  
производя переполох,  
свершивший туалет без мыла  
пророк, застигнутый врасплох  
при сотворении кумира,  
свой первый кофе пьет уже  
на набережной в неглиже.

### III

Потом он прыгает, крестясь,  
в прибой, но в схватке рукопашной  
он терпит крах. Обзаведясь  
в киоске прессою вчерашней,  
он размещается в одном  
из алюминиевых кресел;  
гниют баркасы кверху дном,  
дымит на горизонте крейсер,  
и сохнут водоросли на  
затылке плоском валуна.

### IV

Затем он покидает берег.  
Он лезет в гору без усилий.  
Он возвращается в ковчег  
из олеандр и бугенвиллей,  
настолько сросшийся с горой,  
что днище течь дает как будто,  
когда сквозь заросли порой  
внизу проглядывает бухта;  
и стол стоит в ковчеге том,  
давно покинутом скотом.

### V

Перо. Чернильница. Жара.  
И льнет линолеум к подошвам...  
И речь бежит из-под пера  
не о грядущем, но о прошлом;  
затем что автор этих строк,



чьей пронизательности беркут  
мог позавидовать, пророк,  
который нынче опровергнут,  
утратив жажду прорицать,  
на лире пробует бряцать.

## VI

Приехать к морю в несезон,  
помимо матерьяльных выгод,  
имеет тот еще резон,  
что это — временный, но выход  
за скобки года, из ворот  
тюрьмы. Посмеиваясь криво,  
пусть Время взяток не берет,  
Пространство, друг, сребролюбиво!  
Орел двугривенника прав,  
четыре времени поправ!

## VII

Здесь виноградники с холма  
бегут темно-зеленым туком.  
Хозяйки белые дома  
здесь топят розоватым буком.  
Петух вечерний голосит.  
Крутя замедленное сальто,  
луна разбиться не грозит  
о гладь щербатую асфальта:  
ее и тьму других светил  
залив бы с легкостью вместил.

## IX

Когда так много позади  
всего, в особенности — горя,  
поддержки чьей-нибудь не жди,  
сядь в поезд, высадись у моря.  
Оно обширнее. Оно  
и глубже. Это превосходство —  
не слишком радостное. Но  
уж если чувствовать сиротство,  
то лучше в тех местах, чей вид  
волнует, нежели язвит.

*Октябрь, 1969 г. Гурзуф*

## СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

М. Б.

Так долго вместе прожили, что вновь  
второе января пришлось на вторник,  
что удивленно поднятая бровь,  
как со стекла автомобиля — дворник,  
с лица сгоняла смутную печаль,  
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег  
коль выпадет, то думалось — навеки,  
что, дабы не зажмуривать ей век,  
я прикрывал ладонью их, и веки,  
не веря, что их пробуют спасти,  
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,  
что тесные объятия во сне  
бесчестили любой психоанализ;  
что губы, припадавшие к плечу,  
с моими, задувавшими свечу,  
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз  
семейство на обшарпанных обоях  
сменилось целой рощей берез,  
и деньги появились у обоих,  
и тридцать дней над морем, языкат,  
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,  
без мебели, без утвари, на старом  
диванчике, что — прежде чем возник —  
был треугольник перпендикуляром,  
восставленным знакомыми стоймя  
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,  
что сделали из собственных теней  
мы дверь себе — работаешь ли,  
спишь ли,  
но створки не распахивались врозь,  
и мы прошли их, видимо, насквозь  
и черным ходом в будущее вышли.

## КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,  
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов  
второсортной державы, связавшейся с этой, —  
не желая насиловать собственный мозг,  
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск  
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый  
накал  
в этих грустных краях, чей эпитафия — победа  
зеркал,  
при содействии луж порождает эффект изобилья.  
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.  
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —  
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму:  
сны,  
стены тюрем, пальто; туалеты невест — белизны  
новогодней, напитки, секундные стрелки.  
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;  
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —  
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой  
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,

вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих  
нагайках.

Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.  
Даже стулья плетеные держатся здесь  
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их  
немота вынуждает нас как бы к созданию своих  
этикеток и касс. И пространство торчит  
прейскурантом.

Время создано смертью. Нуждаясь в телах  
и вещах,  
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.  
Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,  
к сожалению, трудно. Красавице платье задрал,  
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.  
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,  
но раздвинутый мир должен где-то сужаться,  
и тут —  
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,  
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей  
чересчур далека. То ли некая добрая фея  
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.  
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —  
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки  
перстом,  
то ли дернуть отсюда по морю новым Христом.  
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от  
мороза,

паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от  
стыда:  
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа  
колесо паровоза.

Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?  
Приговор приведен в исполнение. Взглянувши  
сюда,  
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,  
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;  
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны  
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те  
времена, неспособные в общей своей слепоте  
отличать выпадавших из люлек от выпавших  
люлек.

Белоглазая чужд дальше смерти не хочет  
взглянуть.  
Жалко, блюдоц полно, только не с кем стола  
вертануть,  
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам  
тупика.  
Не по древу умом растекаться пристало пока,  
но плевком по стене. И не князя будить —  
динозавра.  
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.  
Неповинной главе всех и дел-то, что ждуть топора  
да зеленого лавра.

*Декабрь, 1969 г.*

## ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯЛТЕ

История, рассказанная ниже, правдива. К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтвержденьях и доводах. Не есть ли это знак, что мы вступаем в совершенно новый, но грустный мир? Доказанная правда есть, собственно, не правда, а всего лишь сумма доказательств. Но теперь не говорят «я верю», а «согласен».

В атомный век людей волнуют больше не вещи, а строение вещей. И как ребенок, распатронив куклу, рыдает, обнаружив в ней труху, так подоплеку тех или иных событий мы обычно принимаем за самые события. В этом есть свое очарование, поскольку мотивы, отношения, среда и прочее — все это жизнь. А к жизни нас приучили относиться как к объекту наших умозаключений.

И кажется порой, что нужно только переплести мотивы, отношенья,



среду, проблемы — и произойдет событие; допустим, преступление. Ан нет. За окнами — обычный день, накрапывает дождь, бегут машины, и телефонный аппарат (клубок катодов, спаек, клемм, сопротивлений) безмолвствует. Событие, увы, не происходит. Впрочем, слава Богу.

Описанное здесь случилось в Ялте. Естественно, что я пойду навстречу указанному выше представленью о правде — то есть, стану потрошить ту куколку. Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент искусства, которое, в конечном счете, есть основа всех событий (хоть искусство писателя не есть искусство жизни, а лишь его подобье).

Показанья свидетелей даются в том порядке, в каком они снимались. Вот пример зависимости правды от искусства, а не искусства — от наличия правды.

1

«Он позвонил в тот вечер и сказал, что не придет. А мы с ним сговорились еще во вторник, что в субботу он ко мне заглянет. Да, как раз во вторник. Я позвонил ему и пригласил его зайти, и он сказал: «В субботу». С какую целью? Просто мы давно

хотели сесть и разобрать совместно один дебют Чигорина. И все. Другой, как вы тут выразились, цели у встречи нашей не было. При том условии, конечно, что желанье увидеться с приятным человеком не называют целью. Впрочем, вам видней... но, к сожалению, в тот вечер он, позвонив, сказал, что не придет. А жаль! я так хотел его увидеть.

Как вы сказали: был взволнован? Нет. Он говорил своим обычным тоном. Конечно, телефон есть телефон; но, знаете, когда лица не видно, чуть-чуть острее воспринимаешь голос. Я не слыхал волнения... Вообще-то он как-то странно составлял слова. Речь состояла более из пауз, всегда смущавших несколько. Ведь мы молчанье собеседника обычно воспринимаем как работу мысли. А это было чистое молчанье. Вы начинали ощущать свою зависимость от этой тишины, и это сильно раздражало многих. Нет, я-то знал, что это результат контузии. Да, я уверен в этом. А чем еще вы объясните... Как? Да, значит, он не волновался. Впрочем, ведь я сужу по голосу и только. Скажу во всяком случае одно: тогда во вторник и потом в субботу он говорил обычным тоном. Если за это время что-то и стряслось, то не в субботу. Он же позвонил!

Взволнованные так не поступают!  
Я, например, когда волнуюсь... Что?  
Как протекал наш разговор? Извольте.  
Как только прозвучал звонок, я тотчас  
снял трубку. «Добрый вечер, это я.  
Мне нужно перед вами извиниться.  
Так получилось, что придти сегодня  
я не сумею». Правда? Очень жаль.  
Быть может, в среду? Мне вам позвонить?  
Помилуйте, какие тут обиды!  
Так до среды? И он: «Спокойной ночи».  
Да, это было около восьми.  
Повесив трубку, я прибрал посуду  
и вынул доску. Он в последний раз  
советовал пойти ферзем Е-8.  
То был какой-то странный, смутный ход.  
Почти нелепый. И совсем не в духе  
Чигорина. Нелепый, странный ход,  
не изменявший ничего, но этим  
на нет сводивший самый смысл этюда.  
В любой игре существенен итог:  
победа, поражение, пусть ничейный,  
но все же — результат. А этот ход —  
он как бы вызывал у тех фигур  
сомнение в своем существовании.  
Я просидел с доской до поздней ночи.  
Быть может, так когда-нибудь и будут  
играть, но что касается меня...  
Простите, я не понял: говорит ли  
мне что-нибудь такое имя? Да.  
Пять лет назад мы с нею разошлись.  
Да, правильно: мы не были женаты.  
Он знал об этом? Думаю, что нет.  
Она бы говорить ему не стала.  
Что? Эта фотография? Ее  
я убирал перед его приходом.

Нет, что вы! вам не нужно извиняться.  
Такой вопрос естественен, и я...  
Откуда мне известно об убийстве?  
Она мне позвонила в ту же ночь.  
Вот у кого взволнованный был голос!»

2

«Последний год я виделась с ним редко,  
но виделась. Он приходил ко мне  
два раза в месяц. Иногда и реже.  
А в октябре не приходил совсем.  
Обычно он предупреждал звонком  
заранее. Примерно за неделю.  
Чтоб не случилось путаницы. Я,  
вы знаете, работаю в театре.  
Там вечно неожиданности. Вдруг  
заболевает кто-нибудь, сбегает  
на киносъемку — нужно заменять.  
Ну, в общем, в этом духе. И к тому же  
— к тому ж он знал, что у меня теперь...  
Да, верно. Но откуда вам известно?  
А впрочем, это ваше амплуа.  
Но то, что есть теперь, ну, это, в общем,  
серьезно. То есть я хочу сказать,  
что это... Да, и несмотря на это  
я с ним встречалась. Как вам объяснить!  
Он, видите ли, был довольно странным  
и непохожим на других. Да все,  
все люди друг на друга непохожи.  
Но он был непохож на всех других.  
Да, это в нем меня и привлекало.  
Когда мы были вместе, все вокруг  
существовать переставало. То есть,  
все продолжало двигаться, вертеться —  
мир жил; и он его не заслонял.

Нет! я вам говорю не о любви!  
Мир жил. Но на поверхности вещей  
— как движущихся, так и неподвижных —  
вдруг возникало что-то вроде пленки,  
вернее — пыли, придававшей им  
какое-то бессмысленное сходство.  
Так, знаете, в больницах красят белым  
и потолки, и стены, и кровати.  
Ну, вот представьте комнату мою,  
засыпанную снегом. Правда, странно?  
А вместе с тем, не кажется ли вам,  
что мебель только выиграла б от  
такой метаморфозы? Нет? А жалко.  
Я думала тогда, что это сходство  
и есть действительная внешность мира.  
Я дорожила этим ощущеньем.

Да, именно поэтому я с ним  
совсем не порывала. А во имя  
чего, простите, следовало мне  
расстаться с ним? Во имя капитана?  
А я так не считаю. Он, конечно,  
серьезный человек, хоть офицер.  
Но это ощущение для меня  
всего важнее! Разве он сумел бы  
мне дать его? О Господи, я только  
сейчас и начинаю понимать,  
насколько важным было для меня  
то ощущение! Да, и это странно.  
Что именно? Да то, что я сама  
отныне стану лишь частичкой мира,  
что и на мне появится налет  
той патины. А я-то буду думать,  
что непохожа на других!.. Пока  
мы думаем, что мы неповторимы,  
мы ничего не знаем. Ужас, ужас.

Простите, я налью себе вина.  
Вы тоже? С удовольствием. Ну что вы,  
я ничего не думаю! Когда  
и где мы познакомились? Не помню.  
Мне кажется, на пляже. Верно, там:  
в Ливадии, на санаторском пляже.  
А где еще встречаешься с людьми  
в такой дыре, как наша? Как, однако,  
вам все известно обо мне! Зато  
вам никогда не угадать тех слов,  
с которых наше началось знакомство.  
А он сказал мне: «Понимаю, как  
я вам противен, но...» — что было дальше,  
не так уж важно. Правда, ничего?  
Как женщина советую принять  
вам эту фразу на вооруженье.  
Что мне известно о его семье?  
Да ровным счетом ничего. Как будто,  
как будто сын был у него — но где?  
А впрочем, нет, я путаю: ребенок  
у капитана. Да, мальчишка, школьник.  
Угрюм; но, в общем, вылитый отец...  
Нет, о семье я ничего не знаю.  
И о знакомых тоже. Он меня  
ни с кем, насколько помню, не знакомил.  
Простите, я налью себе еще.  
Да, совершенно верно: душный вечер.

Нет, я не знаю, кто его убил.  
Как вы сказали? Что вы! Это — тряпка.  
Сошел с ума от ферзевых гамбитов.  
К тому ж, они приятели. Чего  
я не могла понять, так этой дружбы.  
Там, в ихнем клубе, они так дымят,  
что могут завонять весь Южный берег.  
Нет, капитан в тот вечер был в театре.

Конечно, в штатском! Я не выношу их форму. И потом мы возвращались обратно вместе.

Мы его нашли  
в моем парадном. Он лежал в дверях.  
Сначала мы решили — это пьяный.  
У нас в парадном, знаете, темно.  
Но тут я по плащу его узнала:  
на нем был белый плащ, но весь в грязи.  
Да, он не пил. Я знаю это твердо;  
да, видимо, он полз. И долго полз.  
Потом? Ну, мы внесли его ко мне  
и позвонили в отделенье. Я?  
Нет — капитан. Мне было просто..худо.

Да, все это действительно кошмар.  
Вы тоже так считаете? Как странно.  
Ведь это — ваша служба. Вы правы:  
да, к этому вообще привыкнуть трудно.  
И вы ведь тоже человек... Простите!  
Я неудачно выразилась... Да,  
пожалуйста, но мне не наливайте.  
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,  
а утром — репетиция. Ну, разве  
как средство от бессонницы. Вы в этом  
убеждены? Тогда — один глоток.  
Вы правы, нынче очень, очень душно.  
И тяжело. И совершенно нечем  
дышать. И все мешает. Духота.  
Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы?  
Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше —  
я больше ничего не знаю. Да?  
Я совершенно ничего не знаю.  
Ну что вам нужно от меня? Ну что вы...  
Ну что ты хочешь? А? Ну что? Ну что?»

«Так вы считаете, что я обязан давать вам объяснения? Ну что ж, обязан так обязан. Но учтите: я вас разочарую, так как мне о нем известно, безусловно, меньше, чем вам. Хотя того, что мне известно, достаточно, чтобы сойти с ума.

Вам, полагаю, это не грозит, поскольку вы... Да, совершенно верно: я ненавижу этого субъекта.

Причины вам, я думаю, ясны.

А если нет — вдаваться в объяснения бессмысленно. Тем более, что вас, в конце концов, интересуют факты. Так вот: я признаю, что ненавижу.

Нет, мы с ним не были знакомы. Я — я знал, что у нее бывает кто-то.

Но я не знал, кто именно. Она, конечно, ничего не говорила.

Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне достаточно обычного вниманья.

Тем более... Да, слепота возможна.

Но вы совсем не знаете ее!

Ведь если она мне не говорила об этом типе, то не для того, чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось расстраивать меня. Да и скрывать там, в общем, было нечего. Она же сама призналась — я ее припер к стене — что скоро год, как ничего уже меж ними не было... Не понял — поверил ли я ей? Ну да, поверил. Другое дело, стало ли мне легче.



Возможно, вы и правы. Вам видней.  
Но если люди что-то говорят,  
то не затем, чтоб им не доверяли.  
По мне, уже само движенье губ  
существенней, чем правда и неправда:  
в движеньи губ гораздо больше жизни,  
чем в том, что эти губы произносят.  
Вот я сказал вам, что поверил; нет!  
Здесь было нечто большее. Я просто  
увидел, что она мне говорит.  
(Заметьте, не услышал, но увидел!)  
Поймите, предо мной был человек.  
Он говорил, дышал и шевелился.  
Я не хотел считать все это ложью,  
да и не мог... Вас удивляет, как  
с таким подходом к человеку все же  
я ухитрился получить четыре  
звезды? Но это — маленькие звезды.  
Я начинал совсем иначе. Те,  
с кем начинал я, — те давно имеют  
большие звезды. Многие и по две.  
(Прибавьте к вашей версии, что я  
еще и неудачник; это будет  
способствовать ее правдоподобью.)  
Я, повторяю, начинал иначе.  
Я, как и вы, везде искал подвох.  
И находил, естественно. Солдаты —  
такой народ — все время норовят  
начальство охмурить... Но как-то я  
под Кошице, в сорок четвертом, понял,  
что это глупо. Предо мной в снегу  
лежало двадцать восемь человек,  
которым я не доверял, — солдаты.  
Что? Почему я говорю о том,  
что не имеет отношенья к делу?  
Я только отвечал на ваш вопрос.

Да, я вдовец. Уже четыре года.  
Да, дети есть. Один ребенок, сын.  
Где находился вечером в субботу?  
В театре. А потом я провожал  
ее домой. Да, он лежал в парадном.  
Что? Как я реагировал? Никак.  
Конечно, я узнал его. Я видел  
их вместе как-то раз в универмаге.  
Они там что-то покупали. Я  
тогда и понял...

Дело в том, что с ним  
я сталкивался изредка на пляже.  
Нам нравилось одно и то же место —  
там, знаете, у сетки. И всегда  
я видел у него на шее пятна...  
те самые, ну, знаете... Ну вот.  
Однажды я сказал ему — ну, что-то  
насчет погоды, — и тогда он быстро  
ко мне нагнулся и, не глядя на  
меня, сказал: «Мне как-то с вами неохота»,  
и только через несколько секунд  
добавил: «разговаривать». При этом  
все время он смотрел куда-то вверх.  
Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог  
убить его. В глазах моих стемнело,  
я ощутил, как заливают мозг  
горячая волна, и на мгновенье,  
мне кажется, я потерял сознание.  
Когда я, наконец, пришел в себя,  
он возлежал уже на прежнем месте,  
накрыв лицо газетой, и на шее  
темнели эти самые подтеки...  
Да, я не знал тогда, что это — он.  
По счастью, я еще знаком с ней не был.  
Потом? Потом он, кажется, исчез;  
я как-то не встречал его на пляже.

Потом был вечер в Доме офицеров,  
и мы с ней познакомились. Потом  
я увидал их там, в универмаге...  
Поэтому его в субботу ночью  
я сразу же узнал. Сказать вам правду,  
я до известной степени был рад.  
Иначе все могло тянуться вечно,  
и всякий раз после его визитов  
она была немного не в себе.  
Теперь, надеюсь, все пойдет как надо.  
Сначала будет малость тяжело,  
но я-то знаю, что в конце концов  
убитых забывают. И к тому же  
мы, видимо, уедем. У меня  
есть вызов в Академию. Да, в Киев.  
Ее возьмут в любой театр. А сын  
с ней очень дружит. И, возможно, мы  
с ней заведем и своего ребенка.  
Я — хахаха — как видите, еще...  
Да, я имею личное оружие...  
Да нет, не «стечкин» — просто у меня  
еще с войны трофейный парабеллум.  
Ну да, раненье было огнестрельным».

#### 4

«В тот вечер батя отвалил в театр,  
а я остался дома вместе с бабкой.  
Ага, мы с ней смотрели телевизор.  
Уроки? Так ведь то ж была суббота!  
Да, значит телевизор. Про чего?  
Сейчас уже не помню. Не про Зорге?  
Ага, про Зорге! Только до конца  
я не смотрел — я видел это раньше.  
У нас была экскурсия в кино.  
Ну вот... С какого места я ушел?

Ну, это там, где Клаузен и немцы.  
Верней, японцы... и потом они  
еще плывут вдоль берега на лодке.  
Да, это было после девяти.  
Наверно. Потому что гастроном  
они в субботу закрывают в десять,  
а я хотел мороженого. Нет,  
я посмотрел в окно — ведь он напротив.  
Да, и тогда я захотел пройтись.  
Нет, бабке не сказался. Почему?  
Она бы зарычала — ну, пальто,  
перчатки, шапка — в общем, все такое.  
Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,  
а в той, что с капюшоном. Да, она  
на молнии.

Да, положил в карман.  
Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...  
Конечно, просто так! И вовсе не  
для хвастовства! Кому бы стал я хвастать?  
Да, было поздно и вообще темно.  
О чем я думал? Ни о чем не думал.  
По-моему, я просто шел и шел.

Что? Как я очутился наверху?  
Не помню... в общем, потому что сверху  
спускаешься когда, перед тобой  
все время — гавань. И огни в порту.  
Да, верно, и стараешься представить,  
что там творится. И вообще когда  
уже домой — приятнее спускаться.  
Да, было тихо и была луна.  
Ну, в общем было здорово красиво.  
Навстречу? Нет, никто не попадался.  
Нет, я не знал, который час. Но «Пушкин»  
в субботу отправляется в двенадцать,  
а он еще стоял — там, на корме,

салон для танцев, где цветные стекла,  
и сверху это вроде изумруда.  
Ага, и вот тогда...

Чего? Да нет же!

Еённый дом над парком, а его  
я встретил возле выхода из парка.  
Чего? а вообще у нас какие  
с ней отношения? Ну как — она  
красивая. И бабка так считает.  
И вроде ничего, не лезет в душу.  
Но мне-то это, в общем, все равно.  
Папаша разберется...

Да, у входа.

Ага, курил. Ну да, я попросил,  
а он мне не дал, и потом... Ну, в общем,  
он мне сказал: «А ну катись отсюда»  
и чуть попозже — я уж отошел  
шагов на десять, может быть, и больше —  
вполголоса прибавил: «негодяй».  
Стояла тишина, и я услышал.  
Не знаю, что произошло со мной!  
Ага, как будто кто меня ударил.  
Мне словно чем-то залило глаза,  
и я не помню, как я обернулся  
и выстрелил в него! Но не попал:  
он продолжал стоять на прежнем месте  
и, кажется, курил. И я... и я...  
Я закричал и бросился бежать.  
А он — а он стоял...

Никто со мною  
так никогда не говорил! А что,  
а что я сделал? Только попросил.  
Да, папиросу. Пусть и папиросу!  
Я знаю, это плохо. Но у нас  
почти все курят. Мне и не хотелось  
курить-то даже! Я бы не курил,

я только подержал бы... Нет же! нет же!  
Я не хотел себе казаться взрослым!  
Ведь я бы не курил! Но там, в порту,  
езде огни и светлячки на рейде...  
И здесь бы тоже... Нет, я не могу  
как следует все это... Если можно,  
прошу вас: не рассказывайте бате!  
А то убьет... Да, положил на место.  
А бабушка? Нет, она уже уснула.  
Не выключила даже телевизор,  
и там мелькали полосы... Я сразу,  
я сразу положил его на место  
и лег в кровать! Не говорите бате!  
Не то убьет! Ведь я же не попал!  
Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!»

5

Такой-то и такой-то. Сорок лет.  
Национальность. Холост. Дети — прочерк.  
Откуда прибыл. Где прописан. Где,  
когда и кем был найден мертвым. Дальше  
идут подозреваемые: трое.  
Итак, подозреваемые — трое.  
Вообще, сама возможность заподозрить  
трех человек в убийстве одного  
весьма красноречива. Да, конечно,  
три человека могут совершить  
одно и то же. Скажем, съесть цыпленка.  
Но тут — убийство. И в самом том факте,  
что подозрение пало на троих,  
залог того, что каждый был способен  
убить. И этот факт лишает смысла  
все следствие — поскольку в результате  
расследования только узнаешь,  
кто именно; но вовсе не о том, что

другие не могли... Ну что вы! Нет!  
Мороз по коже? Экий вздор! Но в общем  
способность человека совершить  
убийство и способность человека  
расследовать его — при всей своей  
преемственности видимой — бесспорно  
не равнозначны. Вероятно, это  
как раз эффект их близости... О да,  
все это грустно...

Как? Как вы сказали?!

Что именно само уже число  
лиц, на которых пало подозрение,  
объединяет как бы их и служит  
в каком-то смысле алиби? Что нам  
трех человек не накормить одним  
цыпленком? Безусловно. И, выходит,  
убийца не внутри такого круга,  
но за его пределами. Что он  
из тех, которых не подозреваешь?!  
Иначе говоря, убийца — тот,  
кто не имеет повода к убийству?!  
Да, так оно и вышло в этот раз.  
Да-да, вы правы... Но ведь это... это...  
Ведь это — апология абсурда!  
Апофеоз бессмысленности! Бред!  
Выходит, что тогда оно — логично.  
Постойте! Объясните мне тогда,  
в чем смысл жизни? Неужели в том,  
что из кустов выходит мальчик в куртке  
и начинает в вас палить?! А если,  
а если это так, то почему  
мы называем это преступленьем?  
И, сверх того, расследуем! Кошмар.  
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,  
что следствие — лишь форма ожидания,  
и что преступник вовсе не преступник,

и что...

Простите, мне нехорошо.  
Поднимемся на палубу; здесь душно...  
Да, это Ялта. Видите — вон там —  
там этот дом. Нет, чуть повыше, возле  
Мемориала... Как он освещен!  
Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько  
дадут ему. Да, все это уже  
не наше дело. Это — суд. Наверно,  
ему дадут... Простите, я сейчас  
не в силах размышлять о наказании.  
Мне что-то душно. Ничего, пройдет.  
Да, в море будет несомненно легче.  
Ливадия? Она вон там. Да-да,  
та группа фонарей. Шикарно, правда?  
Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал?  
Да, слава Богу. Наконец плывем.

---

«Колхида» вспенила бурун, и Ялта —  
с ее цветами, пальмами, огнями,  
отпускниками, льнущими к дверям  
закрытых заведений, точно мухи  
к зажженным лампам, — медленно  
качнулась  
и стала поворачиваться. Ночь  
над морем отличается от ночи  
над всякой сушею примерно так же,  
как в зеркале встречающийся взгляд —  
от взгляда на другого человека.  
«Колхида» вышла в море. За кормой  
струился пенистый, шипящий след,  
и полуостров постепенно таял  
в полночной тьме. Вернее, возвращался  
к тем очертаньям, о которых нам  
твердит географическая карта.

*Январь — февраль, 1969 г.*



## РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Здесь на земле,  
где я впадал то в истовость, то в ересь,  
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,  
как мышь в золе,  
где хуже мыши  
глодал петит родного словаря,  
тебе чужого, где, благодаря  
тебе, я на себя взираю свыше,

уже ни в ком  
не видя места, коего глаголом  
коснуться мог бы, не владея горлом,  
давясь кивком  
звонкоголосой падали, слюной  
кропя уста взамен кастальской влаги,  
кренясь Пизанской башнею к бумаге  
во тьме ночной,

тебе твой дар  
я возвращаю — не зарыл, не пропил;  
и, если бы душа имела профиль,  
ты б увидал,  
что и она  
всего лишь слепок с горестного дара,  
что более ничем не обладала,  
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь  
тебя глаголом, исповедью, просьбой,  
проклятыми вопросами — той оспой,  
которой речь  
почти с пелен  
заражена — кто знает? — не тобой ли;  
надежным, то есть, образом от боли  
ты удален.

Не стану ждать  
твоих ответов, Ангел, поелику  
столь плохо представляемому лику,  
как твой, под стать,  
должно быть, лишь  
молчанье — столь просторное, что эха  
в нем не сподобятся ни всплески смеха,  
ни вопль: «Услышь!»

Вот это мне  
и блазнит слух, привыкший к разнобою,  
и облегчает разговор с тобою  
наедине.

В Ковчег птенец,  
не возвратившись, доказует то, что  
вся вера есть не более, чем почта  
в один конец.

Смотри ж, как, наг  
и сир, жлоблюсь о Господе, и это  
одно тебя избавит от ответа.  
Но это — подтверждение и знак,  
что в нищете  
влачащий дни не устрашится кражи,  
что я кладу на мысль о камуфляже.  
Там, на кресте,

не возоплю: «Почто меня оставил?!»  
Не превращу себя в благую весть!  
Поскольку боль — не нарушение правил:  
    страданье есть  
    способность тел,  
и человек есть испытатель боли.  
Но то ли свой ему неведом, то ли  
    ее предел.

\*

Здесь, на земле,  
все горы — но в значении их узком —  
    кончаются не пиками, но спуском  
    в крошечной мгле,  
    и, сжав уста,  
стигматы плотно завернув в дерюгу,  
идешь на вещи по второму кругу,  
    сойдя с креста.

Здесь, на земле,  
от нежности до умоисступленья  
все формы жизни есть приспособленье.  
И в том числе  
    взгляд в потолок  
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,  
в котором нас разыскивает, скажем,  
    один стрелок.

Как на сопле,  
все виснет на крюках своих вопросов,  
как вор трамвайный, бард или философ —  
    здесь, на земле,  
    из всех углов  
несет, как рыбой, с одесной и с левой  
    слиянием с природой или с девой  
    и башней слов!

Дух-исцелитель!  
Я из бездонных мозеровских блюд  
так нахлебался варева минут  
и римских литер,  
что в жадный слух,  
который прежде не был привередлив,  
не входят щebet или шум деревьев —  
я нынче глух.

О нет, не помощь  
зову твою, означенная высь!  
тех нет объятий, чтоб не разошлись,  
как стрелки в полночь.  
Не жгу свечи,  
когда, разжав железные объятия,  
будильники, завернутые в платья,  
гремят в ночи!

И в этой башне,  
в правнучке вавилонской, в башне слов,  
все время недостроенной, ты кров  
найти не дашь мне!

Такая тишь  
там, наверху, встречает златоротца,  
что, на чердак карабкаясь, летишь  
на дно колодца.

Там, наверху —  
услышь одно: благодарю за то, что  
ты отнял все, чем на своем веку  
владел я. Ибо созданное прочно,  
продукт труда  
есть пища вора и прообраз рая,  
верней — добыча времени: теряя  
(пусть навсегда)

что-либо, ты  
не смей кричать о преданной надежде;  
то — Времени, невидимые прежде,  
в вещах черты  
вдруг проступают, и теснится грудь  
от старческих морщин; но этих линий —  
их не разгладишь, тающих, как иней,  
коснись их чуть.

Благодарю...  
Верней, ума последняя крупца  
благодарит, что не дал прилипиться  
к тем кушам, корпусам и словарю;  
что ты не в масть  
моим задаткам, комплексам и форум  
зашел — и не предал их жалким формам  
меня во власть.

\*

Ты за утрату  
горазд все это отомщеньем счесть,  
моим приспособленьем к циферблату,  
борьбой, слияньем с Временем — Бог весть!  
Да полно, мне ль!  
А если так — то с временем неблизким,  
затем что чудится за каждым диском  
в стене — туннель.

Ну что же, рой!  
Рой глубже и, как вырванное с мясом,  
шей сердцу страх пред грустною порой,  
пред смертным часом.  
Шей бездну мук,  
старайся, перебарщивай в усердьи!  
Но даже мысль о — как его! — бессмертьи  
есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу  
хочу я прокричать и посмотреть  
вперед — раз перспектива умереть  
доступна глазу —  
кто издали  
откликнется? Последует ли эхо?  
Иль ей и там не встретится помеха,  
как на земли?

Ночная тишь...  
Стучит, заснув, башкой об стол заочник.  
Кирпичный будоражит позвоночник  
печная мышь.  
И за окном  
толпа деревьев в деревянной раме,  
как легкие на школьной диаграмме,  
объята сном.

Все откололось...  
И время. И судьба. И о судьбе...  
Осталась только память о себе,  
негромкий голос.  
Она одна.  
И то — как шлак перегоревший, гравий,  
за счет каких-то писем, фотографий,  
зеркал, окна,

исподтишка...  
и горько, что не вспомнить основного!  
Как жаль, что нету в христианстве бога —  
пускай божка —  
вспоминаний, с пригоршней ключей  
от старых комнат — идолища с ликом  
старьевщика — для коротанья слишком  
глухих ночей.

Ночная тишь.  
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.  
Отрепья дыма роются в обломках  
больничных крыш.  
Любая речь  
безадресна, увы, об эту пору —  
чем я сумел, друг-небожитель, спору  
нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.  
И вкус во рту от жизни в этом мире,  
как будто наследил в чужой квартире  
и вышел прочь!  
И мозг под током!  
И там, на тридевятом этаже,  
горит окно. И, кажется, уже  
не помню толком,

о чем с тобой  
витийствовал — верней, с одной из кукол,  
пересекающих полночный купол.  
Теперь отбой  
и невдомек,  
зачем так много черного на белом?  
Гортань исходит грифелем и мелом,  
и в ней — комок

не слов, не слез,  
но странной мысли о победе снега —  
отбросов света, падающих с неба, —  
почти вопрос.  
В мозгу горчит,  
и за стеною в толщину страницы  
вопит младенец, и в окне больницы  
старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.  
Но мир еще во льду и в белизне.  
И взгляд младенца,  
еще не начинавшего шагов,  
не допускает таянья снегов.  
Но и не деться  
от той же мысли — задом наперед —  
в больнице старику в начале года:  
он видит снег и знает, что умрет  
до таянья его, до ледохода.

1970



## ПЕНЬЕ БЕЗ МУЗЫКИ

*F. W.*

Когда ты вспомнишь обо мне  
в краю чужом — хоть эта фраза  
всего лишь вымысел, а не  
пророчество, о чем для глаза,

вооруженного слезой,  
не может быть и речи: даты  
из омута такой лесой  
не вытащишь — итак, когда ты

за тридевять земель и за  
морями, в форме эпилога  
(хоть повторяю, что слеза,  
за исключением бывшего,

все уменьшает) обо мне  
вспомняешь все-таки в то Лето  
Господне и вздохнешь — о не  
вздыхай! — обозревая это

количество морей, полей,  
разбросанных меж нами, ты не  
 заметишь, что толпу нулей  
возглавила сама.

В гордыне

твоей иль в слепоте моей  
все дело, или в том, что рано  
об этом говорить, но ей —  
же Богу, мне сегодня странно,

что, будучи кругом в долгу,  
поскольку ограждал так плохо  
тебя от худших бед, могу  
от этого избавить вздоха.

Грядущее есть форма тьмы,  
сравнимая с ночным покоем.  
В том будущем, о коем мы  
не знаем ничего, о коем,

по крайности, сказать одно  
сейчас я в состоянии точно:  
что порознь нам суждено  
с тобой в нем пребывать, и то, что

оно уже настало — рёв  
метели, превращенье крика  
в глухое толковище слов  
есть первая его улика —

в том будущем есть нечто, вещь,  
способная утешить или  
— настолько-то мой голос вещь!  
занять воображенье в стиле

рассказов Шахразады, с той  
лишь разницей, что это больше  
посмертный, чем весьма простой  
страх смерти у нее — позволь же

сейчас, на языке родных  
осин, тебя утешить; и да  
пусть тени на снегу от них  
толпятся как триумф Эвклида.

\* \* \*

Когда ты вспомнишь обо мне,  
дня, месяца, Господня Лета  
такого-то, в чужой стране,  
за тридевяль земель — а это

гласит о двадцати восьми  
возможностях — и каплей влаги  
зрачок вооружишь, возьми  
перо и чистый лист бумаги

и перпендикуляр стоймя  
восставь, как небесам опору,  
меж нашими с тобой двумя  
— да, точками: ведь мы в ту пору

уменьшимся и там, Бог весть,  
невидимые друг для друга,  
почтем еще с тобой за честь  
слыть точками; итак, разлука

есть проведение прямой,  
и жаждущая встречи пара  
любowników — твой взгляд и мой —  
к вершине перпендикуляра

поднимется, не отыскав  
убежища, помимо горних  
высот, до ломоты в висках;  
и это ли не треугольник!

Рассмотрим же фигуру ту,  
которая в другую пору  
заставила бы нас в поту  
холодном пробуждаться, полу-

безумных лезть под кран, дабы  
рассудок не спалила злоба;  
и если от такой судьбы  
избавлены мы были оба —

от ревности, примет, комет,  
от прѣворотов, порч, снадобья  
— то, видимо, лишь на предмет  
черчения его подобья.

Рассмотрим же. Всему свой срок,  
поскольку теснота, незрячесть  
объятия — сама залог  
незримости в разлуке — прячась

друг в друге, мы скрывались от  
пространства, положив границей  
ему свои лопатки,— вот  
оно и воздает сторицей

предательству; возьми перо  
и чистую бумагу — символ  
пространства — и, представив про-  
порцию — а нам по силам

представить все пространство: наш  
мир все же ограничен властью  
Творца: пусть не наличьем страж  
заоблачных, так чьей-то страстью

заоблачной — представь же ту  
пропорцию прямой, лежащей  
меж нами — ко всему листу  
и, карту подстелив для вящей

подробности, разбей чертеж  
на градусы, и в сетку втисни  
длину ее — и ты найдешь  
зависимость любви от жизни.

Итак, пускай длина черты  
известна нам, а нам известно,  
что это — как бы вид четы,  
пределов тех, верней, где места

свиданья лишена она,  
и ежели сия оценка  
верна (она, увы, верна),  
то перпендикуляр, из центра

восставленный, есть сумма сих  
пронзительных двух взглядов; и на  
основе этой силы их  
находится его вершина

в пределах стратосферы — вряд  
ли суммы наших взглядов хватит  
на большее; а каждый взгляд,  
к вершине обращенный, — катет.

Так двух прожекторов лучи,  
исследуя враждебный хаос,  
находят свою цель в ночи,  
за облаком пересекаясь;

но цель их — не мишень солдат:  
она для них — сама услуга,  
как зеркало, куда глядят  
не смеющие друг на друга

взглянуть; итак, кому ж, как не  
мне, катету, незриму, нему,  
доказывать тебе вполне  
обыденную теорему

обратную, где, муча глаз  
доказанных обильем пугал,  
жизнь требует найти от нас  
то, чем располагаем: угол.

Вот то, что нам с тобой ДАНО.  
Надолго. Навсегда. И даже  
пускай в неощутимой, но  
в материи. Почти в пейзаже.

Вот место нашей встречи. Грот  
заоблачный. Беседка в тучах.  
Приют гостеприимный. Род  
угла; притом, один из лучших

хотя бы уже тем, что нас  
никто там не застигнет. Это  
лишь наших достоянье глаз,  
верх собственности для предмета.

За годы, ибо негде до —  
до смерти нам встречаться боле,  
мы это обживем гнездо,  
таща туда по равной доле

скарб мыслей одиноких, хлам  
невысказанных слов — все то, что  
мы скопим по своим углам;  
и рано или поздно точка

указанная обретет  
почти материальный облик,  
достоинство звезды и тот  
свет внутренний, который облак

не застит — ибо сам Эвклид  
при сумме двух углов и мрака  
вокруг еще один сулит;  
и это как бы форма брака.

Вот то, что нам с тобой дано.  
Надолго. Навсегда. До гроба.  
Невидимым друг другу. Но  
оттуда обозримы оба

так будем и в ночи и днем,  
от Запада и до Востока,  
что мы, в конце концов, начнем  
от этого зависеть ока

всевидящего. Как бы явь  
на тьму ни налагала áрест,  
возьми его сейчас и вставь  
в свой новый гороскоп, покамест

всевидящее око слов  
не стало разбирать. Разлука  
есть сумма наших трех углов,  
а вызванная ею мука

есть форма тяготенья их  
друг к другу; и она намного  
сильней подобных форм других.  
Уж точно, что сильней земного.

\* \* \*

Схоластика, ты скажешь. Да,  
схоластика и в прятки с горем  
лишенная примет стыда  
игра. Но и звезда над морем —

что есть она как не (позволь  
так молвить, чтоб высокий в этом  
не узрела ты штиль) мозоль,  
натертая в пространстве светом?

Схоластика. Почти. Бог весть.  
Возможно. Усмотри в ответе  
согласие. А что не есть  
схоластика на этом свете?

Бог ведает. Клонясь ко сну,  
я вижу за окном кончину  
зимы; и не найти весну:  
ночь хочет удержать причину

от следствия. В моем мозгу  
какие-то квадраты, даты,  
твоя или моя к виску  
прижатая ладонь...

Когда ты

однажды вспомнишь обо мне,  
окутанную вспомни мраком,  
висящую вверху, вовне,  
там где-нибудь, над Скагерраком,



в компании других планет,  
мерцающую слабо, тускло,  
звезду, которой, в общем, нет.  
Но в том и состоит искусство

любви, вернее, жизни — в том,  
чтоб видеть, чего нет в природе,  
и в месте прозревать пустом  
сокровища, чудовищ — вроде

крылатых женогрудых львов,  
божков невероятной мощи,  
вещающих судьбу орлов.  
Подумай же, насколько проще

творения подобных дел,  
плетения их оболочки  
и прочих кропотливых дел —  
вселение в пространство точки!

Ткни пальцем в темноту. Невесть  
куда. Куда укажет ноготь.  
Не в том суть жизни, что в ней есть,  
но в вере в то, что в ней должно быть.

Ткни пальцем в темноту — туда,  
где в качестве высокой ноты  
должна была бы быть звезда;  
и, если ее нет, длинноты,

затасканных сравнений лоск  
прости: как запоздалый кочет,  
униженный разлукой мозг  
возвыситься невольно хочет.

## POST AETATEM NOSTRAM \*

*А. Я. Сергееву*

I

«Империя — страна для дураков».  
Движенье перекрыто по причине  
приезда Императора. Толпа  
теснит легионеров — песни, крики;  
но паланкин закрыт. Объект любви  
не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца  
бродяга-грек с небритым инвалидом  
играют в домино. На скатертях  
лежат отбросы уличного света,  
и отголоски ликования мирно  
шевелият шторы. Проигравший грек  
считает драхмы; победитель просит  
яйцо вкрутую и щепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик  
рассказывает молодой гетере,  
что видел Императора. Гетера  
не верит и хохочет. Таковы  
прелюдии у них к любовным играм.

---

\* См. в конце примечания автора.

## II

### Дворец

Изваянные в мраморе сатир  
и нимфа смотрят в глубину бассейна,  
чья гладь покрыта лепестками роз.

Наместник, босиком, собственноручно  
крававит морду местному царю  
за трех голубок, угоревших в тесте  
(в момент разделки пирога взлетевших,  
но тотчас же попадавших на стол).  
Испорчен праздник, если не карьера.

Царь молча извивается на мокром  
полу под мощным, жилистым коленом  
Наместника. Благоуханье роз  
туманит стены. Слуги безучастно  
глядят перед собой, как изваянья.  
Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,  
свернувшись у трубы дворцовой кухни,  
бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,  
как два раба выносят из дверей  
труп повара, завернутый в рогожу,  
и медленно спускаются к реке.  
Шуршит щебенка.

Человек на крыше  
старается зажать кошачью пасть.

## III

Покинутый мальчишкой брадобрей  
глядится молча в зеркало — должно быть,  
грустя о нем и начисто забыв

намыленную голову клиента.  
«Наверно, мальчик больше не вернется».  
Тем временем клиент спокойно дремлет  
и видит чисто греческие сны:  
с богами, с кифаредами, с борьбой  
в гимнасиях, где острый запах пота  
щекочет ноздри.

Снявшись с потолка,  
большая муха, сделав круг, садится  
на белую намыленную щеку  
заснувшего и, утопая в пене,  
как бедные пельтасты Ксенофонта  
в снегах армянских, медленно ползет  
через провалы, выступы, ущелья  
к вершине и, минуя жерло рта,  
взобраться норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,  
и муха, взыв от ужаса, взлетает.

#### IV

Сухая послепраздничная ночь.  
Флаг в подворотне, схожий с конской  
мордой,  
жует губами воздух. Лабиринт  
пустынных улиц залит лунным светом:  
чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуи  
и луж. С фасадов исчезает лепка.  
И если дверь выходит на балкон,  
она закрыта. Видимо, и здесь  
ночной покой спасают только стены.  
Звук собственных шагов вполне зловещ

и в то же время беззащитен; воздух  
уже пронизан рыбою: дома  
кончаются.

Но лунная дорога  
струится дальше. Черная фелукка  
её пересекает, словно кошка,  
и растворяется во тьме, дав знак,  
что дальше, собственно, идти не стоит.

v

В расклеенном на уличных щитах  
«Послании к властителям» известный,  
известный местный кифаред, кипя  
негодованьем, смело выступает  
с призывом Императора убрать  
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,  
седые старцы, зрелые мужчины  
и знающие грамоте гетеры  
единогласно утверждают, что  
«такого прежде не было» — при этом  
не уточняя, именно чего  
«такого»:

мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит  
в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.  
Шуршание прибоя. Растянувшись,  
как ящерица в марте, на сухом  
горячем камне, голый человек

лушит ворованный миндаль. Поодаль  
два скованных между собой раба,  
собравшиеся, видно, искупаться,  
смеясь, друг другу помогают снять  
свое тряпье.

Невероятно жарко;  
и грек сползает с камня, закатив  
глаза, как две серебряные драхмы  
с изображеньем новых Диоскуров.

## VI

Прекрасная акустика! Строитель  
недаром вшей кормил семнадцать лет  
на Лемносе. Акустика прекрасна.  
День тоже восхитителен. Толпа,  
отлившаяся в форму стадиона,  
застыв и затаив дыханье, внемлет  
той ругани, которой два бойца  
друг друга осыпают на арене,  
чтоб, распалясь, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,  
но в справедливой и логичной смерти.  
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах  
одни мужчины. Солнце золотит  
кудлатых львов правительственной ложи.  
Весь стадион — одно большое ухо.

«Ты падаль!» — «Сам ты падаль». —

«Мразь и падаль!»

И тут Наместник, чье лицо подобно  
гноющемуся вымени, смеется.

## VII

### Башня

Прохладный полдень.  
Теряющийся где-то в облаках  
железный шпиль муниципальной башни  
является в одно и то же время  
громоотводом, маяком и местом  
подъема государственного флага.  
Внутри же — размещается тюрьма.  
Подсчитано когда-то, что обычно —  
в сатрапиях, во время фараонов,  
у мусульман, в эпоху христианства —  
сидело иль бывало казнено  
примерно шесть процентов населения.  
Поэтому еще сто лет назад  
дед нынешнего цезаря задумал  
реформу правосудья. Отменив  
безнравственный обычай смертной казни,  
он с помощью особого закона  
те шесть процентов сократил до двух,  
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,  
пожизненно. Не важно, совершил ли  
ты преступление или невиновен;  
закон, по сути дела, как налог.  
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.  
На сорок третьем этаже пастух,  
лицо просунув сквозь иллюминатор,  
свою улыбку посылает вниз  
пришедшей навестить его собаке.

## VIII

Фонтан, изображающий дельфина  
в открытом море, совершенно сух.  
Вполне понятно: каменная рыба  
способна обойтись и без воды,  
как та — без рыбы, сделанной из камня.  
Таков вердикт третейского суда.  
Чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца  
на мраморных ступеньках кучка смуглых  
вождей в измятых пестрых балахонах  
ждет появления своего царя,  
как брошенный на скатерти букет —  
заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают  
и потрясают копьями. Улыбки,  
объятия, поцелуи. Царь слегка  
смущен; но вот удобство смуглой кожи:  
на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальчика.  
«О чем они болтают?» — «Кто, вот эти?»  
«Ага». — «Благодарят его». — «За что?»  
Мальчишка поднимает ясный взгляд:  
«За новые законы против нищих».

## IX

### Зверинец

Решетка, отделяющая льва  
от публики, в чугунном варианте  
воспроизводит путаницу джунглей.  
Мох. Капли металлической росы.  
Лиана, оплетающая лотос.



Природа имитируется с той любовью, на которую способен лишь человек, которому не все равно, где заблудиться: в чаще или в пустыне.

## Х

### Император

Атлет-легионер в блестящих латах, несущий стражу возле белой двери, из-за которой слышится журчанье, глядит в окно на проходящих женщин. Ему, торчащему здесь битый час, уже казаться начинает, будто не разные красавицы внизу проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М, украсившая дверь, по сути дела, лишь прописная по сравнению с той, огромной и пунцовой от натуги, согнувшейся за дверью над проточной водою, дабы рассмотреть во всех подробностях свое отображение. В конце концов, проточная вода ничуть не хуже скульпторов, все царство изображеньем этим наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя. Огромный, перевернутый Верзувий, над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом. Империя похожа на трирему

в канале, для триремы слишком узком.  
Гребцы колотят веслами по суше,  
и камни сильно обдирают борт.  
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!  
Движенье есть, движенье происходит.  
Мы все-таки плывем. И нас никто  
не обгоняет. Но, увы, как мало  
похоже это на былую скорость!  
И как тут не вздохнешь о временах,  
когда все шло довольно гладко.  
Гладко.

## XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит  
уже в потемках. Тоненькая струйка  
всплывает к потолку, чья белизна  
в крошечном мраке в первую минуту  
согласна на любую форму света.  
Пусть даже копать.

За окном всю ночь  
в неполатом саду шумит тяжелый  
азийский ливень. Но рассудок — сух.  
Настолько сух, что, будучи охвачен  
холодным бледным пламенем объятья,  
воспламеняешься быстрее, чем лист  
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копоти, ни пепла по себе  
не оставляя, человек выходит  
в сырую темень и бредет к калитке.  
Но серебристый голос козодоя  
велит ему вернуться.

Под дождем  
он, повинуюсь, снова входит в кухню  
и, снявши пояс, высыпает на  
железный стол оставшиеся драхмы.  
Затем выходит.  
Птица не кричит.

## XII

Задумав перейти границу, грек  
достал вместительный мешок и после  
в кварталах возле рынка изловил  
двенадцать кошек (почерней) и с этим  
скребущимся, мяукающим грузом  
он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда  
в июле светит. Псы сторожевые,  
конечно, заливали все ущелье  
тоскливым лаем: кошки перестали  
в мешке скандалить и почти притихли.  
И грек промолвил тихо: «В добрый час.

Афина, не оставь меня. Ступай  
передо мной», — а про себя добавил:  
«На эту часть границы я кладу  
всего шесть кошек. Ни одну больше».  
Собака не взберется на сосну.  
Что до солдат — солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,  
собаки, кошки, суеверье, сосны —  
весь механизм сработал. Он взобрался  
на перевал. Но в миг, когда уже  
одной ногой стоял в другой державе,  
он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.

В отличие от животных, человек  
уйти способен от того, что любит  
(чтоб только отличиться от животных).

Но, как слюна собачья, выдают  
его животную природу слезы:

«О, Талласа!..»

Но в этом скверном мире  
нельзя торчать так долго на виду,  
на перевале, в лунном свете, если  
не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,  
он осторожно стал спускаться вниз,  
в глубь континента; и вставал навстречу

еловый гребень вместо горизонта.

#### ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Перевод заглавия: После нашей эры.

*Диоскуры*.— Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк) в греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также — мифологические персонажи.

*Лемнос* — остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.

*Верзувий* — от славянского «верзать».

*Талласа* — море (греч.).

Э. Р.

Второе Рождество на берегу  
незамерзающего Понта.  
Звезда Царей над изгородью порта.  
И не могу сказать, что не могу  
жить без тебя — поскольку я живу.  
Как видно из бумаги. Существуя;  
глотая пиво, пачкаю листву и  
топчу траву.

Теперь в кофейне, из которой мы,  
как и пристало временно счастливым,  
беззвучным были выброшены взрывом  
в грядущее, под натиском зимы  
бежав на Юг, я пальцами черчу  
твое лицо на мраморе для бедных;  
поодаль нимфы прыгают, на бедрах  
задрав парчу.

Что, боги,— если бурое пятно  
в окне символизирует вас, боги,—  
стремились вы нам высказать в итоге?  
Грядущее настало, и оно  
переносимо; падает предмет,  
скрипач выходит, музыка не длится,  
и море все морщинистей, и лица.  
А ветра нет.

Когда-нибудь оно, а не — увы —  
мы, захлестнет решетку променада  
и двинется под возгласы «не надо»,  
вздымая гребни выше головы,  
туда, где ты пила свое вино,  
спала в саду, просушивала блузку,  
— круша столы, грядущему моллюску  
готовя дно.

*1971, Ялта*

# ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

*Томасу Венцлова*

## 1. Вступление

Вот скромная приморская страна.  
Свой снег, аэропорт и телефоны,  
свои евреи. Бурый особняк  
диктатора. И статуя певца,  
отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,  
но знание географии: южане  
здесь по субботам ездят к северянам  
и, возвращаясь под хмельком пешком,  
порой на Запад забредают — тема  
для скетча. Расстоянья таковы,  
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,  
бесчисленные ангелы на кровлях  
бесчисленных костелов; человек  
становится здесь жертвой толчеи  
или деталью местного барокко.

## 2. Леиклос \*

Родиться бы сто лет назад  
и сохнущей поверх перины  
глазеть в окно и видеть сад,  
кресты двуглавой Катарины;  
стыдиться матери, икать  
от наведенного лорнета,  
тележку с рухлядью толкать  
по желтым переулкам гетто;  
вздыхать, накрывшись с головой,  
о польских барышнях, к примеру;  
дождаться Первой мировой  
и пасть в Галиции — за Веру,  
Царя, Отечество,— а нет,  
так пейсы переделать в бачки  
и перебраться в Новый Свет,  
блюя в Атлантику от качки.

## 3. Кафе «Неринга»

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,  
провожаемо дребезгом блюдец, ножей  
и вилок,  
и пространство, прищурившись, подшофе,  
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг  
замирает поверх черепичных кровель,  
и кадык заостряется, точно вдруг  
от лица остается всего лишь профиль.

И веления щучьего слыша речь,  
подавальщица в кофточке из батиста  
перебирает ногами, снятыми с плеч  
местного футболиста.



#### 4. Герб

Драконоборческий Егорий,  
копье в горниле аллегорий  
утратив, сохранил досель  
коня и меч, и повсеместно  
в Литве преследует он честно  
другим не видимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,  
решил настичь? Предмет погони  
скрыт за пределами герба.  
Кого? Язычника? Гяура?  
Не весь ли мир? Тогда не дура  
была у Витовта губа.

#### 5. *Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica* \*\*

Бессонница. Часть женщины. Стекло  
полно рептилий, рвущихся наружу.  
Безумье дня по мозжечку стекло  
в затылок, где образовало лужу.  
Чуть шевельнись — и ощутит нутро,  
как некто в ледяную эту жижу  
обмакивает острое перо  
и медленно выводит «ненавижу»  
по росписи, где каждая крива  
извилина. Часть женщины в помаде  
в слух запускает длинные слова,  
как пятерню в завшивленные пряди.  
И ты в потемках одинок и наг  
на простыне, как Зодиака знак.

## 6. Palangen \*\*\*

Только море способно взглянуть в лицо  
небу; и путник, сидящий в дюнах,  
опускает глаза и сосет вино,  
как изгнанник-царь без орудий струнных.  
Дом разграблен. Стада у него — свели.  
Сына прячет пастух в глубине пещеры.  
И теперь перед ним — только край земли,  
и ступать по водам не хватит веры.

## 7. Dominikanaj \*\*\*\*

Сверни с проезжей части в полу-  
слепой проулок и, войдя  
в костел, пустой об эту пору,  
сядь на скамью и, погодя,  
в ушную раковину Бога,  
закрытую для шума дня,  
шепни всего четыре слога:  
— Прости меня.

1971

---

\* Улица в Вильнюсе.

\*\* «Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне» (лат.). Название трактата XVIII века, хранящегося в библиотеке Вильнюсского университета.

\*\*\* Паланга (нем.).

\*\*\*\* «Доминиканцы» (костел в Вильнюсе) (лит.).

## НАТЮРМОРТ

Verrà la morte e avrà tuoi occhi.

C. Pavese \*

### 1

Вещи и люди нас  
окружают. И те,  
и эти терзают глаз.  
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье  
в парке, глядя вослед  
проходящей семье.  
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима.  
Согласно календарю.  
Когда опротивеет тьма,  
тогда я заговорю.

### 2

Пора. Я готов начать.  
Не важно, с чего. Открыть  
рот. Я могу молчать.  
Но лучше мне говорить.

---

\* Придет смерть, и у нее будут твои глаза (ит.). Ч. Павезе.

О чем? О днях, о ночах.  
Или же — ничего.  
Или же о вещах.  
О вещах, а не о

людях. Они умрут.  
Все. Я тоже умру.  
Это бесплодный труд.  
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.  
Холод ее лютей  
реки, промерзшей до дна.  
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.  
Лицами их привит  
к жизни какой-то не-  
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,  
что противно уму.  
Что выражает лезть  
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них  
нет ни зла, ни добра  
внешне. А если вник  
в них — и внутри нутра.

Внутри у предметов — пыль.  
Прах. Древоточец-жук.  
Стенки. Сухой мотыль.  
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет  
только пыль озарит.  
Даже если предмет  
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне  
так же, как изнутри,  
напоминает мне  
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.  
Швабра, епитрахиль  
пыль не сотрут. Сама  
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,  
не напрягает бровь.  
Ибо пыль — это плоть  
времени; плоть и кровь.

6

Последнее время я  
сплю среди бела дня.  
Видимо, смерть моя  
испытывает меня.

поднося, хоть дышу,  
зеркало мне ко рту,—  
как я переносу  
небытие на свету.

Я неподвижен. Два  
бедра холодны, как лед.  
Венозная синева  
мрамором отдает.

7

Преподнося сюрприз  
суммой своих углов,  
вещь выпадает из  
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не  
движется. Это — бред.  
Вещь есть пространство, вне  
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,  
распотрошить, сломать.  
Бросить. При этом вещь  
не крикнет: «Ебена мать!»

8

Дерево. Тень. Земля  
под деревом для корней.  
Корявые вензеля.  
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.  
Камень, чей личный груз  
освобождает от  
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни  
сдвинуть, ни унести.  
Тень. Человек в тени,  
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет  
вещи. Чей контур стерт.  
Сумерки. Больше нет  
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет  
тело, чья гладь визит  
смерти, точно приход  
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:  
череп, скелет, коса.  
«Смерть придет, у нее  
будут твои глаза».

10

Мать говорит Христу:  
— Ты мой сын или мой  
Бог? Ты прибит к кресту.  
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,  
не поняв, не решив:  
ты мой сын или Бог?  
То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:  
— Мертвый или живой,  
разницы, жено, нет.  
Сын или Бог, я твой.

*1971*



24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА

V. S.

В Рождество все немного волхвы.  
В продовольственных слякоть и давка.  
Из-за банки кофейной халвы  
производит осаду прилавка  
грудой свертков навьюченный люд:  
каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,  
шапки, галстуки, сбитые набок.  
Запах водки, хвои и трески,  
мандаринов, корицы и яблоч.  
Хаос лиц, и не видно тропы  
в Вифлеем из-за снежной трупы.

И разносчики скромных даров  
в транспорт прыгают, ломаются в двери,  
исчезают в провалах дворов,  
даже зная, что пусто в пещере:  
ни животных, ни яслей, ни Той,  
над Которою — нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней  
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.  
Знал бы Ирод, что чем он сильней,  
тем верней, неизбежнее чудо.  
Постоянство такого родства —  
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,  
что Его приближенье, сдвигая  
все столы. Не потребность в звезде  
пусть еще, но уж воля благая  
в человеках видна издали,  
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят  
трубы кровель. Все лица как пятна.  
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.  
Кто грядет — никому непонятно:  
мы не знаем примет, и сердца  
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке  
из тумана ночного густого  
возникает фигура в платке,  
и Младенца, и Духа Святого  
ощущаешь в себе без стыда;  
смотришь в небо и видишь — звезда.

1970

## ПОХОРОНЫ БОБО

### 1

Бобо мертва, но шапки недолой.  
Чем объяснить, что утешаться нечем.  
Мы не проколем бабочку иглой  
Адмиралтейства — только изувечим.

Квадраты окон, сколько ни смотри  
по сторонам. И в качестве ответа  
на «Что стряслось?» пустую изнутри  
открой жестянку: «Видимо, вот это».

Бобо мертва. Кончается среда.  
На улицах, где не найдешь ночлега,  
белым-бело. Лишь черная вода  
ночной реки не принимает снега.

### 2

Бобо мертва, и в этой строчке грусть.  
Квадраты окон, арок полукружья.  
Такой мороз, что коль убьют, то пусть  
из огнестрельного оружия.

Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.  
Слеза к лицу разрезанному сыру.  
Нам за тобой последовать слабо,  
но и стоять на месте не под силу.

Твой образ будет, знаю наперед,  
в жару и при морозе-ломоносе  
не уменьшаться, но наоборот  
в неповторимой перспективе Росси.

3

Бобо мертва. Вот чувство, дележу  
доступное, но скользкое, как мыло.  
Сегодня мне приснилось, что лежу  
в своей кровати. Так оно и было.

Сорви листок, но дату переправь:  
нуль открывает перечень утратам.  
Сны без Бобо напоминают явь,  
и воздух входит в комнату квадратом.

Бобо мертва. И хочется, уста  
слегка разжав, произнести «не надо».  
Наверно, после смерти — пустота.  
И вероятнее, и хуже Ада.

4

Ты всем была. Но, потому что ты  
теперь мертва, Бобо моя, ты стала  
ничем — точнее, сгустком пустоты.  
Что тоже, как подумаешь, немало.

Бобо мертва. На круглые глаза  
вид горизонта действует, как нож, но  
тебя, Бобо, Кики или Заза  
им не заменят. Это невозможно.

Идет четверг. Я верю в пустоту.  
В ней, как в Аду, но более херово.  
И новый Дант склоняется к листу  
и на пустое место ставит слово.

## НАБРОСОК

Холуй трясется. Раб хохочет.  
Палач свою секиру точит.  
Тиран кромсает каплуна.  
Сверкает зимняя луна.

Се — вид Отечества, гравюра.  
На лежаке — Солдат и Дура.  
Старуха чешет мертвый бок.  
Се — вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.  
Борис у Глеба в морду просит.  
Кружатся пары на балу.  
В прихожей — куча на полу.

Луна сверкает, зренье муча.  
Под ней, как мозг отдельный, туча...  
Пускай Художник, паразит,  
другой пейзаж изобразит.

1972

## ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ — ОПЫТА

On a cloud I saw a child,  
and he laughing said to me...

W. Blake \*

1

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,  
не ходить в пальто, но в одной рубашке.  
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,  
мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.  
То, что нам приснится, и станет явью.  
Мы полюбим всех, и в ответ — они нас.  
Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами  
дикой лани; а если мы девы сами,  
то мы юношей стройных возьмем в супруги  
и не будем чаять души друг в друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,  
мы, смеясь, свои совершим ошибки.  
И тогда живущие на покое  
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

---

\* ...Дитя на облачке узрел я,  
оно мне молвило, смеясь...

*Вильям Блейк*

2

Наши мысли длинней будут с каждым годом.  
Мы любую болезнь победим иодом.  
Наши окна завешены будут тюлем,  
а не забраны черной решеткой тюрем.

Мы с приятной работы вернемся рано.  
Мы в кино не спустим глаза с экрана.  
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.  
Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,  
целиком из железа и с полным баром.  
Мы взойдем на борт и получим визу,  
и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире  
с временами года, числом четыре,  
перемножив и баки залив горючим,  
двадцать мест поехать куда получим.

3

Соловей будет петь нам в зеленой чаше.  
Мы не будем думать о смерти чаще,  
чем ворона в виду огородных пугал.  
Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком  
кресле,  
в окружении внуков и внучек. Если  
их не будет, дадут посмотреть соседи  
в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:  
завтра не может быть так же плохо,  
как вчера, и слово сие писати  
в tempі следует нам passati.

Потому что душа существует в теле,  
жизнь будет лучше, чем мы хотели.  
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,  
ибо так вкуснее; нам так сказали.

Hear the voice of the Bard!  
W. Blake \*

1

Мы не пьем вина на краю деревни.  
Мы не ладим себя в женихи царевне.  
Мы в густые щи не макаем лапоть.  
Нам смеяться стыдно и скушно плакать.

Мы дугу не гнем пополам с медведем.  
Мы на сером волке вперед не едем,  
и ему не встать, уколовшись шприцем  
или оземь грянувшись, стройным принцем.

Зная медные трубы, мы в них не трубим.  
Мы не любим подобных себе, не любим  
тех, кто сделан был из другого теста.  
Нам не нравится время, но чаще — место.

---

\* Внемлите глас певца!

*Вильям Блейк*



Потому что север далек от юга,  
наши мысли цепляются друг за друга.  
Когда меркнет солнце, мы свет включаем,  
завершая вечер грузинским чаем.

2

Мы не видим восходов из наших пашен.  
Нам судья противен, защитник страшен.  
Нам дороже свайка, чем матч столетья.  
Дайте нам обед и компот на третье.

Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.  
Мы боимся короны во лбу лягушки,  
бородавок на пальцах и прочей мрази.  
Подарите нам тюбик хорошей мази.

Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.  
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.  
И, когда их срывает Борей до срока,  
ничего не чувствуем, кроме шока.

Потому что тепло переходит в холод,  
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.  
Не рассудок наш, а глаза ослабли,  
чтоб искать отличие орла от цапли.

3

Мы боимся смерти, посмертной казни.  
Нам знаком при жизни предмет боязни:  
пустота вероятней и хуже ада.  
Мы не знаем, кому нам сказать «не надо».

Наши жизни, как строчки, достигли точки.  
В изголовьи дочки в ночной сорочке  
или сына в майке не встать нам снами.

Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.

То не колокол бьет над угрюмым вечем!  
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.  
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.  
Дайте нам припасть напоследок к фляге.

Почему все так вышло? И будет ложью  
на характер свалить или Волю Божью.  
Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

## ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ

(Из Марциала)

---

Нынче ветрено и волны с перехлестом.

Скоро осень, все изменится в округе.  
Смена красок этих трогательней, Постум,  
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —  
дальше локтя не пойдешь или колена.

Сколь же радостней прекрасное вне тела:  
ни объятье невозможно, ни измена!

---

Посылаю тебе, Постум, эти книги.

Что в столице? Мягко стелют? Спать не  
жестко?

Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?  
Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.

Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.  
Вместо слабых мира этого и сильных —  
лишь согласное гуденье насекомых.

---

Здесь лежит купец из Азии. Толковым  
был купцом он — деловит, но незаметен.

Умер быстро: лихорадка. По торговым  
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.  
Он в сражениях Империю прославил.  
Столько раз могли убить! а умер старцем.  
Даже здесь не существует, Постум, правил.

---

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,  
но с куриными мозгамихватишь горя.  
Если выпало в Империи родиться,  
лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.  
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.  
Говоришь, что все наместники — ворюги?  
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

---

Этот ливень переждать с тобой, гетера,  
я согласен, но давай-ка без торговли:  
брать сестерций с покрывающего тела  
все равно, что дранку требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?  
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.  
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,  
он и будет протекать на покрывало.

---

Вот и прожили мы больше половины.  
Как сказал мне старый раб перед таверной:  
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».  
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.  
Разыщу большой кувшин, воды налью им...  
Как там в Ливии, мой Постум,— или где там?  
Неужели до сих пор еще воюем?

---

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?  
Худощавая, но с полными ногами.  
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.  
Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.  
Или сливами. Расскажешь мне известья.  
Постелю тебе в саду под чистым небом  
и скажу, как называются созвездья.

---

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,  
долг свой давний вычитанию заплатит.  
Забери из-под подушки сбереженья,  
там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле  
в дом гетер под городскую нашу стену.  
Дай им цену, за которую любили,  
чтоб за ту же и оплакивали цену.

---

Зелень лавра, доходящая до дрожи.  
Дверь распахнутая, пыльное оконце.  
Стул покинутый, оставленное ложе.  
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.  
Чье-то судно с ветром борется у мыса.  
На разошедшей скамейке — Старший Плиний.  
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

*Март, 1972 г.*

## БАБОЧКА

### I

Сказать, что ты мертва?  
Но ты жила лишь сутки.  
Как много грусти в шутке  
Творца! едва  
могу произнести  
«жила» — единство даты  
рожденья и когда ты  
в моей горсти  
рассыпалась, меня  
смущает вычесть  
одно из двух количеств  
в пределах дня.

### II

Затем что дни для нас —  
ничто. Всего лишь  
ничто. Их не приколешь  
и пищей глаз  
не сделаешь: они  
на фоне белом,  
не обладая телом,  
незримы. Дни,

они как ты; верней,  
что может весить  
уменьшенный раз в десять  
один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет  
тебя? Но что же  
в руке моей так схоже  
с тобой? и цвет —  
не плод небытия.  
По чьей подсказке  
и так кладутся краски?  
Навряд ли я,  
бормочущий комок  
слов, чуждых цвету,  
вообразить бы эту  
палитру смог.

IV

На крылышках твоих  
зрачки, ресницы —  
красавицы ли, птицы —  
обрывки чьих,  
скажи мне, это лиц  
портрет летучий?  
Каких, скажи, твой случай  
частиц, крупниц  
являет натюрморт:  
вещей, плодов ли?  
и даже рыбной ловли  
трофей простерт.

## V

Возможно, ты — пейзаж,  
и, взявши лупу,  
я обнаружу группу  
нимф, пляску, пляж.  
Светло ли там, как днем?  
иль там уныло,  
как ночью? и светило  
какое в нем  
взошло на небосклон?  
чьи в нем фигуры?  
Скажи, с какой природы  
был сделан он?

## VI

Я думаю, что ты —  
и то, и это:  
звезды, лица, предмета  
в тебе черты.  
Кто был тот ювелир,  
что, бровь не хмурия,  
нанес в миниатюре  
на них тот мир,  
что сводит нас с ума,  
берет нас в клещи,  
где ты, как мысль о вещи,  
мы — вещь сама?

## VII

Скажи, зачем узор  
такой был даден  
тебе всего лишь на день  
в краю озер,



чья амальгама впрок  
хранит пространство?  
А ты — лишает шанса  
столь краткий срок  
попасть в сачок,  
затрепетать в ладони,  
в момент погони  
пленишь зрачок.

### VIII

Ты не ответишь мне  
не по причине  
застенчивости, и не  
со зла, и не  
затем что ты мертва.  
Жива, мертва ли —  
но каждой Божьей твари  
как знак родства  
дарован голос для  
общенья, пенья:  
продления мгновенья,  
минуты, дня.

### IX

А ты — ты лишена  
сего залога.  
Но, рассуждая строго,  
так лучше: на  
кой ляд быть у небес  
в долгу, в реестре.  
Не сокрушайся ж, если  
твой век, твой вес

достойны немоты:  
звук — тоже бремя.  
Бесплотнее, чем время,  
беззвучней ты.

X

Не ощущая, не  
дожив до страха,  
ты вьешься легче праха  
над клумбой, вне  
похожих на тюрьму  
с ее удушьем  
минувшего с грядущим,  
и потому,  
когда летишь на луг,  
желая корму,  
приобретает форму  
сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,  
скользя по глади  
расчерченной тетради,  
не зная про  
судьбу своей строки,  
где мудрость, ересь  
смешались, но доверясь  
толчкам руки,  
в чьих пальцах бьется речь  
вполне немая,  
не пыль с цветка снимая,  
но тяжесть с плеч.

## XII

Такая красота  
и срок столь краткий,  
соединясь, догадкой  
кривят уста:  
не высказать ясней,  
что в самом деле  
мир создан был без цели,  
а если с ней,  
то цель — не мы.  
Друг-энтомолог,  
для света нет иголок  
и нет для тьмы.

## XIII

Сказать тебе «Прощай»  
как форме суток?  
Есть люди, чей рассудок  
стрижет лишай  
забвенья; но взгляни:  
тому виною  
лишь то, что за спиною  
у них не дни  
с постелью на двоих,  
не сны дремучи,  
не прошлое — но тучи  
сестер твоих!

## XIV

Ты лучше, чем Ничто.  
Верней: ты ближе  
и зримее. Внутри же  
на все на сто  
ты родственна ему.

В твоём полете  
оно достигло плоти;  
и потому  
ты в сутолке дневной  
достойна взгляда  
как легкая преграда  
меж ним и мной.

*1972*

## ТОРС

Если вдруг забредаешь в каменную траву,  
выглядающую в мраморе лучше, чем наяву,  
иль замечаешь фавна, предавшегося возне  
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,  
можешь выпустить посох из натруженных рук:  
ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,  
взятые из природы или из головы,—  
все, что придумал Бог и продолжать устал  
мозг, превращено в камень или металл.  
Это — конец вещей, это — в конце пути  
зеркало, чтоб войти.

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,  
смотри, как проходят века, исчезая за  
углом, и как в паху прорастает мох  
и на плечи ложится пыль — этот загар эпох.  
Кто-то отколет руку, и голова с плеча  
скатится вниз, стуча.

И останется торс, безымянная сумма мышц.  
Через тысячу лет живущая в нише мышь с  
ломаным когтем, не одолев гранит,  
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит  
через дорогу, чтоб не придти в нору  
в полночь. Ни поутру.

*Л. В. Лифшицу*

Я всегда твердил, что судьба — игра.  
Что зачем нам рыба, раз есть икра.  
Что готический стиль победит, как школа,  
как способность торчать, избежав укола.  
Я сижу у окна. За окном осина.  
Я любил немногих. Однако — сильно.

Я считал, что лес — только часть полена.  
Что зачем вся дева, раз есть колено.  
Что, устав от поднятой веком пыли,  
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.  
Я сижу у окна. Я помыл посуду.  
Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке — ужас пола.  
Что любовь, как акт, лишена глагола.  
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,  
вещь обретает не ноль, но Хронос.  
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.  
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.  
И что семя, упавши в дурную почву,  
не дает побега; что луг с поляной  
есть пример рукоблудья, в природе данный.  
Я сижу у окна, обхватив колени,  
в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,  
но зато ее хором не спеть. Не диво,  
что в награду мне за такие речи  
своих ног никто не кладет на плечи.

Я сижу у окна в темноте; как скорый,  
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо  
признаю я товаром второго сорта  
свои лучшие мысли и дням грядущим  
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте. И она не хуже  
в комнате, чем темнота снаружи.

1971

## ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью  
и брел к окну, и фонари в окне,  
обрывок фразы, сказанной во сне,  
сводя на нет, подобно многоточью,  
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,  
проживши столько лет с тобой в разлуке,  
я чувствовал вину свою, и руки,  
ощупывая с радостью живот,  
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,  
я знал, что оставлял тебя одну  
там, в темноте, во сне, где терпеливо  
ждала ты, и не ставила в вину,  
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —  
там длится то, что сорвалось при свете.  
Мы там женаты, венчаны, мы те  
двуспинные чудовища, и дети  
лишь оправданье нашей нагоде.

В какую-нибудь будущую ночь  
ты вновь придешь усталая, худая,



и я увижу сына или дочь,  
еще никак не названных — тогда я  
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе  
оставить вас в том царствии теней,  
безмолвных, перед изгородью дней,  
впадающих в зависимость от яви,  
с моей недостижимостью в ней.

*Февраль, 1971 г.*

## СРЕТЕНЬЕ

*Анне Ахматовой*

Когда она в церковь впервые внесла  
дитя, находились внутри из числа  
людей, находившихся там постоянно,  
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук  
Марии; и три человека вокруг  
младенца стояли, как зыбкая рама,  
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.  
От взглядов людей и от взора небес  
вершины скрывали, сумев распластаться,  
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом  
свет падал младенцу; но он ни о чем  
не ведал еще и посапывал сонно,  
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему  
о том, что увидит он смертную тьму  
не прежде, чем Сына увидит Господня.  
Свершилось. И старец промолвил:  
«Сегодня,

реченное некогда слово храня,  
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,  
затем что глаза мои видели это  
дитя: он — твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,  
и слава Израиля в нем». — Симеон  
умолкнул. Их всех тишина обступила.  
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя  
над их головами, слегка шелестя  
под сводами храма, как некая птица,  
что в силах взлететь, но не в силах  
спуститься.

И странно им было. Была тишина  
не менее странной, чем речь. Смущена,  
Мария молчала. «Слова-то какие...»  
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих  
паденье одних, возвышенье других,  
предмет пререканий и повод к раздорам.  
И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя  
душа будет ранена. Рана сия  
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко  
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед  
Мария, сутулясь, и тяжестью лет  
согбенная Анна безмолвно глядели.  
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.  
Почти подгоняем их взглядами, он  
шагал по застывшему храму пустому  
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.  
Лишь голос пророчицы сзади когда  
раздался, он шаг придержал свой немного:  
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.  
И дверь приближалась. Одежд и чела  
уж ветер коснулся, и в уши упрямо  
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул  
он, дверь отворивши руками, шагнул,  
но в глухонемые владения смерти.  
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.  
И образ младенца с сияньем вокруг  
пушистого темени смертной тропюю  
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,  
в которой дотоле еще никому  
дорогу себе озарять не случалось.  
Светильник светил, и тропа расширялась.

*Март, 1972 г.*

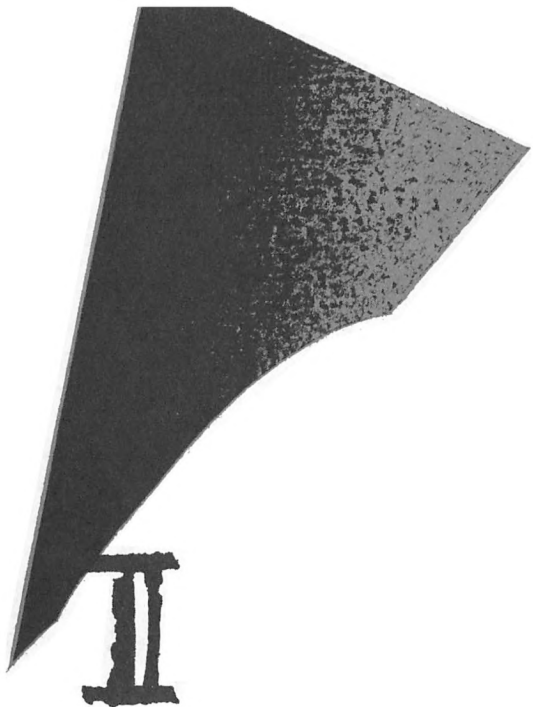
## ОДИССЕЙ ТЕЛЕМАКУ

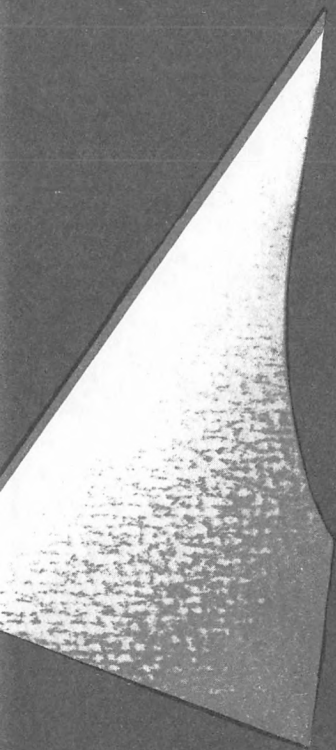
Мой Телемак,  
Троянская война  
окончена. Кто победил — не помню.  
Должно быть, греки: столько мертвецов  
вне дома бросить могут только греки...  
И все-таки ведущая домой  
дорога оказалась слишком длинной,  
как будто Посейдон, пока мы там  
теряли время, растянул пространство.  
Мне неизвестно, где я нахожусь,  
что предо мной. Какой-то грязный остров,  
кусты, постройки, хрюканье свиней,  
заросший сад, какая-то царица,  
трава да камни... Милый Телемак,  
все острова похожи друг на друга,  
когда так долго странствуешь, и мозг  
уже сбивается, считая волны,  
глаз, засоренный горизонтом, плачет,  
и водяное мясо застит слух.  
Не помню я, чем кончилась война,  
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.  
Лишь боги знают, свидимся ли снова.  
Ты и сейчас уже не тот младенец,  
перед которым я сдержал быков.

Когда б не Паламед, мы жили вместе.  
Но, может быть, и прав он: без меня  
ты от страстей Эдиповых избавлен,  
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

*1972*







## В ОЗЕРНОМ КРАЮ

В те времена в стране зубных врачей,  
чьи дочери выписывают вещи  
из Лондона, чьи стиснутые клещи  
вздымают вверх на знамени ничей  
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту  
развалины почище Парфенона,  
шпион, лазутчик, пятая колонна  
гнилой цивилизации — в быту  
профессор красноречия — я жил  
в колледже возле главного из Пресных  
Озер, куда из недорослей местных  
был призван для вытягиванья жил.

Все то, что я писал в те времена,  
сводилось неизбежно к многоточью.  
Я падал, не расстегиваясь, на  
постель свою. И ежели я ночью  
отыскивал звезду на потолке,  
она, согласно правилам сгоранья,  
сбегала на подушку по щеке  
быстрей, чем я загадывал желанья.

1972

\* \* \*

Осенний вечер в скромном городке,  
гордящемся присутствием на карте  
(топограф был, наверное, в азарте  
иль с дочкою судьи накоротке).

Уставшее от собственных причуд,  
Пространство как бы скидывает бремя  
величья, ограничиваясь тут  
чертами Главной улицы; а Время  
взирает с неким холодом в кости  
на циферблат колониальной лавки,  
в чьих недрах все, что смог произвести  
наш мир: от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны, за углом  
одно кафе с опущенною шторой;  
кирпичный банк с распластанным орлом  
и церковь, о наличии которой  
и ею расставляемых сетей,  
когда б не рядом с почтой, позабыли.  
И если б здесь не делали детей,  
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.  
В шесть вечера, как вследствие атомной  
войны, уже не встретишь ни души.

Луна wpłyвает, вписываясь в темный  
квадрат окна, что твой Экклезиаст.  
Лишь изредка несущийся куда-то  
шикарный бьюик фарами обдаст  
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,  
а собственный ваш адрес на конверте.  
Здесь утром, видя скисшим молоко,  
молочник узнает о вашей смерти.  
Здесь можно жить, забыв про календарь,  
глотать свой бром, не выходить наружу  
и в зеркало глядеться, как фонарь  
глядится в высыхающую лужу.

1972

1972 ГОД

*Виктору Гольшеву*

Птица уже не влетает в форточку.  
Девица, как зверь, защищает кофточку.  
Подскользнувшись о вишневую косточку,  
я не падаю: сила трения  
возрастает с паденьем скорости.  
Сердце скачет, как белка, в хворосте  
ребер. И горло поет о возрасте.  
Это — уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!  
Крови медленное струение.  
Некогда стройное ног строение  
мучает зрение. Я заранее  
область своих ощущений пятаю,  
обувь скидая, спасаю ватюю.  
Всякий, кто мимо идет с лопатюю,  
ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.  
Зря оно пело, рыдало, скалилось.  
В полости рта не уступит кариес  
Греции Древней, по меньшей мере.  
Смрадно дыша и треща суставами,  
пачкаю зеркало. Речь о саване  
еще не идет. Но уже те самые,  
кто тебя вынесет, входят в двери.

Здравствуй, младое и незнакомое  
племя! Жужжащее, как насекомое,  
время нашло, наконец, искомое  
лакомство в твердом моем затылке.  
В мыслях разброд и разгром на темени.  
Точно царица — Ивана в тереме,  
чую дыхание смертной темени  
фибрами всеми и жмусь к подстилке.

Боязно! То-то и есть, что боязно.  
Даже когда все колеса поезда  
прокатятся с грохотом ниже пояса,  
не замирает полет фантазии.  
Точно рассеянный взор отличника,  
не отличая очки от лифчика,  
боль близорука, и смерть расплывчата,  
как очертанья Азии.

Все, что я мог потерять, утрачено  
начисто. Но и достиг я начерно  
все, чего было достичь назначено.  
Даже кукушки в ночи звучание  
трогает мало — пусть жизнь оболгана  
или оправдана им надолго, но  
старение есть отрастанье органа  
слуха, рассчитанного на молчание.

Старение! В теле все больше смертного.  
То есть, ненужного жизни. С медного  
лба исчезает сиянье местного  
света. И черный прожектор в полдень  
мне заливает глазные впадины.  
Силы из мышц у меня украдены.  
Но не ищу себе перекладыни:  
совестно братья за труд Господень.

Впрочем, дело, должно быть, в трусости.  
В страхе. В технической акта трудности.  
Это — влиянье грядущей трупности:  
всякий распад начинается с воли,  
минимум коей — основа статики.  
Так я учил, сидя в школьном садике.  
Ой, отойдите, друзья-касатики!  
Дайте выйти во чисто поле!

Я был как все. То есть жил похожею  
жизнью. С цветами входил в прихожую.  
Пил. Валял дурака под кожей.  
Брал, что давали. Душа не зарилась  
на не свое. Обладал опорой,  
строил рычаг. И пространству впору я  
звук извлекал, дуя в дудку полую.  
Что бы такое сказать под занавес?!

Слушай, дружина, враги и братие!  
Все, что творил я, творил не ради я  
славы в эпоху кино и радио,  
но ради речи родной, словесности.  
За какое раченье-жречество  
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)  
чаши лишившись в пиру Отечества,  
нынче стою в незнакомой местности.

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.  
Полночь швыряет листву и ветви на  
кровлю. Можно сказать уверенно:  
здесь и скончаю я дни, теряя  
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,  
черпая кепкой, что шлемом суздальским,  
из океана волну, чтоб сузился,  
хрупая рыбу, пускай сырая.

Старение! Возраст успеха. Знания  
правды. Изнанки ее. Изгнания.  
Боли. Ни против нее, ни за нее  
я ничего не имею. Коли ж  
переборщит — возоплю: нелепица  
сдерживать чувства. Покамест — терпится.  
Ежели что-то во мне и теплится,  
это не разум, а кровь всего лишь.

Данная песня — не вопль отчаянья.  
Это — следствие одичания.  
Это — точней — первый крик молчания,  
царствие чье представляю суммою  
звуков, исторгнутых прежде мокрою,  
затвердевающей ныне в мертвую  
как бы натуру, гортанью твердую.  
Это и к лучшему. Так я думаю.

Вот оно — то, о чем я глаголаю:  
о превращении тела в голую  
вещь! Ни горé не гляжу, ни долу я,  
но в пустоту — чем ее ни осветли.  
Это и к лучшему. Чувство ужаса  
вещи не свойственно. Так что лужица  
подле вещи не обнаружится,  
даже если вещица при смерти.

Точно Тезей из пещеры Миноса,  
выйдя на воздух и шкуру вынеся,  
не горизонт вижу я — знак минуса  
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,  
лезвие это, и им отрезана  
лучшая часть. Так вино от трезвого  
прочь убирают, и соль — от пресного.  
Хочется плакать. Но плакать нечего.

Бей в барабан о своем доверии  
к ножницам, в коих судьба материи  
скрыта. Только размер потери и  
делает смертного равным Богу.  
(Это суждение стоит галочки  
даже в виду обнаженной парочки.)  
Бей в барабан, пока держишь палочки,  
с тенью своей маршируя в ногу!

*18 декабря 1972 г.*



## РОТТЕРДАМСКИЙ ДНЕВНИК

### I

Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.  
Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.  
Четыре дня они бомбили город,  
и города не стало. Города  
не люди и не прячутся в подъезде  
во время ливня. Улицы, дома  
не сходят в этих случаях с ума  
и, падая, не призывают к мести.

### II

Июльский полдень. Капает из вафли  
на брючину. Хор детских голосов.  
Вокруг — громады новых корпусов.  
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,  
что оба потрудились от души  
над переменной облика Европы.  
Что позабудут в ярости циклопы,  
то трезво завершат карандаши.

Как время ни целебно, но культя,  
не видя средств отличия от цели,  
саднит. И тем сильней — от панацеи.  
Ночь. Три десятилетия спустя,  
мы пьем вино при крупных летних звездах  
в квартире на двадцатом этаже —  
на уровне, достигнутом уже  
взлетевшими здесь некогда на воздух.

*Роттердам, июль 1973 г.*

## НА СМЕРТЬ ДРУГА

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд  
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,  
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,  
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,  
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —  
на эзоповой фене в отечестве белых головок,  
где на ошупь и слух наколол ты свои полюса  
в мокром космосе злых корольков и визгливых

сиповок;

имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от  
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,  
похитителю книг, сочинителю лучшей из од  
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,  
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,  
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфodelей,  
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,  
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —  
да лежится тебе, как в большом оренбургском

платке,

в нашей бурой земле, местных труб проходимцу

и дыма,

понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,  
и замерзшему насмерть в параднике Третьего

Рима.

Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.  
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей  
не надо,  
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,  
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.  
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,  
тщетно некто трубит наверху в свою дудку  
протяжно.  
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон  
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

1973

Песчаные холмы, поросшие сосной.  
Здесь сыро осенью и пасмурно весной.  
Здесь море треплет на ветру оборки  
свои бесцветные, да из соседских дач  
порой послышится то детский плач,  
то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки.

Полынь на отмели и тростника гнилье.  
К штакетнику выходит снять белье  
мать-одиночка. Слышен скрип уключин:  
то пасынок природы, хмурый финн,  
плывет извлечь свой невод из глубин,  
но невод этот пуст и перекручен.

Тут чайка снизится, там промелькнет баклан.  
То алюминиевый аэроплан,  
уместный более среди облаков, чем птица,  
стремится к северу, где бьет баклуши швед,  
как губка некая, вбирая серый цвет,  
и пресным воздухом не тяготится.

Здесь горизонту придают черты  
своей доступности безлюдные форты.  
Здесь блеклый парус одинокой яхты,  
чертя прозрачную вдали лазурь,  
вам не покажется питомцем бурь,  
но — заболоченного устья Лахты.

И глаз, привыкший к уменьшенью тел  
на расстоянии, иной предел  
здесь обретает — где вообще о теле  
речь не заходит, где утрат не жаль:  
затем, что большую предполагает даль  
потеря из виду, чем вид потери.

Когда умру, пускай меня сюда  
перенесут. Я никому вреда  
не причиню, в песке прибрежном лежа.  
Объятий ласковых, тугих клешней  
равно бежавшему, не отыскать нежней,  
застираннее и безгрешней ложа.

1974

## ЛАГУНА

### I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах  
толкуют в холле о муках крестных;  
пансион «Аккадемия» вместе со  
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот  
телевизора; сунув грассбух под локоть,  
клерк поворачивает колесо.

### II

И восходит в свой номер на борт по трапу  
постоялец, несущий в кармане граппу,  
совершенный никто, человек в плаще,  
потерявший память, отчизну, сына;  
по горбу его плачет в лесах осина,  
если кто-то плачет о нем вообще.

### III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,  
слышен звон в коробке из-под случайных  
жизней. Бронзовый осьминог  
люстры в трельяже, заросшем ряской,  
лизет набрякший слезами, лаской,  
грязными снами сырой станок.

#### IV

Адриатика ночью восточным ветром  
канал наполняет, как ванну, с верхом,  
лодки качает, как люльки; фиш,  
а не вол в изголовьи встает ночами,  
и звезда морская в окне лучами  
штору шевелит, покуда спишь.

#### V

Так и будем жить, заливая мертвой  
водой стеклянной графина мокрый  
пламень граппы, кромсая леща, а не  
птицу-гуся, чтобы нас насытил  
предок хордовый Твой, Спаситель,  
зимней ночью в сырой стране.

#### VI

Рождество без снега, шаров и ели  
у моря, стесненного картой в теле;  
створку моллюска пустив ко дну,  
пряча лицо, но спиной пленяя,  
Время выходит из волн, меняя  
стрелку на башне — ее одну.

#### VII

Тонуший город, где твердый разум  
внезапно становится мокрым глазом,  
где сфинксов северных южный брат,



знающий грамоте лев крылатый,  
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй»!  
в плеске зеркал захлебнуться рад.

### VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.  
Звук отрицает себя, слова и  
слух; а также державу ту,  
где руки тянутся хвойным лесом  
перед мелким, но хищным бесом  
и слюну леденит во рту.

### IX

Скрестим же с левой, вобравшей когти,  
правую лапу, согнувши в локте;  
жест получим, похожий на  
молот в серпе — и как чорт Солохе,  
храбро покажем его эпохе,  
принявшей образ дурного сна.

### X

Тело в плаще обживает сферы,  
где у Софии, Надежды, Веры  
и Любви нет грядущего, но всегда  
есть настоящее, сколь бы горек  
ни был вкус поцелуев эбрé и гоек,  
и города, где стопа следа

## XI

не оставляет, как челн на глади  
водной, любое пространство сзади,  
взятое в цифрах, сводя к нулю,  
не оставляет следов глубоких  
на площадях, как «прощай», широких,  
в улицах узких, как звук «люблю».

## XII

Шпили, колонны, резьба, лепнина  
арок, мостов и дворцов; взгляни на-  
верх: увидишь улыбку льва  
на охваченной ветром, как платьем, башне,  
несокрушимой, как злак вне пашни,  
с поясом времени вместо рва.

## XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым  
лицом, сравнимым во тьме со снятым  
с безымянного пальца кольцом, грызя  
ноготь, смотрит, объят покоем,  
в то «никуда», задержаться в коем  
мысли можно, зрачку — нельзя.

## XIV

Там, за нигде, за его пределом  
— черным, бесцветным, возможно, белым —  
есть какая-то вещь, предмет.  
Может быть, тело. В эпоху тренья  
скорость света есть скорость зренья;  
даже тогда, когда света нет.

## ТЕМЗА В ЧЕЛСИ

### 1

Ноябрь. Светило, поднявшееся натошак,  
замирает на банках с содой в стекле аптеки.  
Ветер находит преграду во всех вещах:  
в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.  
Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды;  
неколесный транспорт ползет по Темзе,  
как по серой дороге, извивающейся без нужды.  
Томас Мор взирает на правый берег с тем же  
вожделеньем, что прежде, и напрягает мозг.  
Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный  
мост  
Принца-Альберта; и, говоря по чести,  
это лучший способ покинуть Челси.

### II

Бесконечная улица, делая резкий крюк,  
выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.  
Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,  
и деревья стоят, точно в очереди за мелкой  
осетриной волн; это все, на что  
Темза способна по части рыбы.  
Местный дождь затмевает трубу Агриппы.  
Человек, способный взглянуть на сто

лет вперед, узрит побуревший портик,  
который вывеска «бар» не портит,  
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,  
автобус у галереи Тэйт.

### III

Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни  
для него не преграда, ни кепки и ни корона. жесть  
Лишь у тех, кто зонты производит, есть  
в этом климате шансы захвата трона.  
Серым днем, когда вашей спины настичь  
даже тень не в силах, и на исходе деньги,  
в городе, где, как ни темней кирпич,  
молоко будет вечно белеть на дверной ступеньке,  
можно, глядя в газету, столкнуться со  
статьей о прохожем, попавшим под колесо;  
и только найдя абзац о том, как скорбит родня,  
с облегченьем подумать: это не про меня.

### IV

Эти слова мне диктовали не  
любовь, и не Муза, но потерявший скорость  
звука пыливый, бесцветный голос;  
я отвечал, лежа лицом к стене.  
«Как ты жил в эти годы?» — «Как буква «г» в «ого».  
«Опиши свои чувства». — «Смущался дороговизне».  
«Что ты любишь на свете сильнее всего?»  
«Реки и улицы — длинные вещи жизни».  
«Вспоминаешь о прошлом?» — «Помню, была  
зима.  
Я катался на санках, меня продуло».  
«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма;  
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

## V

Воздух живет той жизнью, которой нам не дано  
уразуметь — живет своей голубою,  
ветреной жизнью, начинаясь над головою  
и нигде не кончаясь. Взглянув в окно,  
видишь трубы и шпили, кровлю, ее свинец;  
это — начало большого сырого мира,  
где мостовая, которая нас вскормила,  
собой представляет его конец  
преждевременный... Брезжит рассвет, проезжает  
почта.

Больше не во что верить, опричь того, что  
покуда есть правый берег у Темзы, есть  
левый берег у Темзы. Это — благая весть.

## VI

Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы.  
Сердце может только отстать от Большого Бена.  
Темза катится к морю, разбухшая точно вена,  
и буксиры в Челси дерут басы.  
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь  
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.  
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней  
и текущей жизни, слившись, дают цифирь  
астрономической масти. И палец, вращая диск  
зимней луны, обретает бесцветный писк  
«занято»; и этот звук во много  
раз неизбежней, чем голос Бога.

1974

## ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К МАРИИ СТЮАРТ

1974

1

Мари, шотландцы все-таки скоты.  
В каком колене клетчатого клана  
предвиделось, что двинешься с экрана  
и оживишь, как статуя, сады?  
И Люксембургский, в частности? Сюды  
забрел я как-то после ресторана  
взглянуть глазами старого барана  
на новые ворота и в пруды.  
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,  
и так как «все бывшее ожило  
в отжившем сердце», в старое жерло  
вложив заряд классической картечи,  
я трачу что осталось русской речи  
на Ваш анфас и матовые плечи.

2

В конце большой войны не на живот,  
когда что было жарили без сала,  
Мари, я видел мальчиком, как Сара  
Леандр шла топ-топ на эшафот.

Меч палача, как ты бы не сказала,  
приравнивает к полу небосвод  
(см. светило, вставшее из вод).  
Мы вышли все на свет из кинозала,  
но нечто нас в час сумерек зовет  
назад в «Спартак», в чьей плюшевой утробе  
приятнее, чем вечером в Европе.  
Там снимки звезд, там главная — брюнет,  
там две картины, очередь на обе.  
И лишнего билета нет.

### 3

Земной свой путь пройдя до середины,  
я, заявившись в Люксембургский сад,  
смотрю на затвердевшие седины  
мыслителей, письменников; и взад-  
вперед гуляют дамы, господины,  
жандарм синее в зелени, усат,  
фонтан мурлычет, дети голоса,  
и обратиться не к кому с «иди на».  
И ты, Мари, не покладая рук,  
стоишь в гирлянде каменных подруг —  
французских королев во время оно —  
безмолвно, с воробьем на голове.  
Сад выглядит как помесь Пантеона  
со знаменитой «Завтрак на траве».

### 4

Красавица, которую я позже  
любил сильнее, чем Босуэла — ты,  
с тобой имела общие черты  
(шепчу автоматически «о, Боже»,

их вспоминая) внешние. Мы тоже  
счастливой не составили четы.  
Она ушла куда-то в макинтоше.  
Во избежанье роковой черты,

я пересек другую — горизонта,  
чье лезвие, Мари, острей ножа.  
Над этой вещью голову держа  
не кислорода ради, но азота,  
бурлящего в раздувшемся зобу,  
гортань... того... благодарит судьбу.

5

Число твоих любовников, Мари,  
превысило собою цифру три,  
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.  
Нет для короны большего урона,  
чем с кем-нибудь случайно переспать.  
(Вот почему обречена корона;  
республика же может устоять,  
как некая античная колонна).  
И с этой точки зренья ни на пядь  
не сдвинете шотландского барона.  
Твоим шотландцам было не понять,  
чем койка отличается от трона.  
В своем столетьи белая ворона,  
для современников была ты блядь.

6

Я вас любил. Любовь еще (возможно,  
что просто боль) сверлит мои мозги.  
Все разлетелось к черту на куски.



Я застрелиться пробовал, но сложно  
с оружием. И далее: виски:  
в который вдарить? Портила не дрожь, но  
задумчивость. Черт! все не по-людски!  
Я вас любил так сильно, безнадежно,  
как дай вам Бог другими — но не даст!  
Он, будучи на многое горазд,  
не сотворит — по Пармениду — дважды  
сей жар в крови, ширококостный хруст,  
чтоб пломбы в пасти плавилась от жажды  
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

7

Париж не изменился. Плас де Вож  
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.  
Река не потекла еще обратно.  
Бульвар Распай по-прежнему пригож.  
Из нового — концерты за бесплатно  
и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.  
Есть многие, с кем свидеться приятно,  
но первым прокричавши «как живешь?»

В Париже, ночью, в ресторане... Шик  
подобной фразы — праздник носоглотки.  
И входит айне кляйне нахт мужик,  
внося мордоворот в косоворотке.  
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.  
Луна, что твой генсек в параличе.

8

На склоне лет, в стране за океаном  
(открытой, как я думаю, при Вас),  
деля помятый свой иконостас

меж печкой и продавленным диваном,  
я думаю, сведи удача нас,  
понадобились вряд ли бы слова нам:  
ты просто бы звала меня Иваном  
и я бы отвечал тебе «Alas».

Шотландия нам стала бы матрас.  
Я б гордым показал тебя славянам.  
В порт Глазго, караван за караваном,  
пошли бы лапти, пряники, атлас.  
Мы встретили бы вместе смертный час.  
Топор бы оказался деревянным.

9

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг  
сражения. «Ты кто такой?» — «А сам ты?»  
«Я кто такой?» — «Да, ты». — «Мы протестанты».  
«А мы католики». — «Ах вот как!» Хряск!  
Потом везде валяются останки.  
Шум нескончаемых вороньих дрязг.  
Потом — зима, узорчатые санки,  
примерка шали: «Где это — Дамаск?»  
«Там, где самец-павлин прекрасней самки».  
«Но даже там он не проходит в дамки»  
(за шашками — передохнув от ласк).  
Ночь в небольшом по-голливудски замке.  
Опять равнина. Полночь. Входят двое.  
И все сливается в их волчьем вое.

10

Осенний вечер. Якобы с Каменной.  
Увы, не поднимающей чела.  
Не в первый раз. В такие вечера

все в радость, даже хор краснознаменный.  
Сегодня, превращаясь во вчера,  
себя не утруждает переменой  
пера, бумаги, жижицы пельменной,  
изделия хромого бочара  
из Гамбурга. К подержанным вещам,  
имеющим царапины и пятна,  
у времени чуть больше, вероятно,  
доверия, чем к свежим овощам.  
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете  
в посадском, молю траченном жакете.

11

Лязг ножниц, ощущение озноба.  
Рок, жадный до каракуля с овцы,  
что брачные, что царские венцы  
снимает с нас. И головы особо.  
Прощай, юнцы, их гордые отцы,  
разводы, клятвы верности до гроба.  
Мозг чувствует, как башня небоскреба,  
в которой не общаются жильцы.  
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,  
где пьет один, забуревают — оба.  
Никто не прокричал тебе «Атас!»  
И ты не знала «я одна, а вас»,  
глуша латынью потолок и Бога,  
увы, Мари, как выговорить «много».

12

Что делает Историю? — Тела.  
Искусство? — Обезглавленное тело.  
Взять Шиллера: Истории влетело

от Шиллера. Мари, ты не ждала,  
что немец, закусивши удила,  
поднимет старое, по сути, дело:  
ему-то вообще какое дело,  
кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,  
наш Фридрих сам страшился топора.  
А во-вторых, скажу тебе, на свете  
ничем (вообрази это), опричь  
Искусства, твои стати не постичь.  
Историю отдай Елизавете.

13

Баран трясет кудряшками (они же  
— руно), вдыхая запахи травы.  
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.  
В тот день их речи были таковы:  
«Ей отрубили голову. Увы».  
«Представьте, как рассердятся в Париже».  
«Французы? Из-за чьей-то головы?  
Вот если бы ей таянули пониже...»  
«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже».  
«Ну, это, как хотите, не основа...»  
«Бесстыдство! Как просвечивала жэ!»  
«Что ж, платья, может, не было иного».  
«Да, русским лучше; взять хоть Иванова:  
звучит как баба в каждом падеже».

14

Любовь сильнее разлуки, но разлука  
длинней любви. Чем статнее гранит,  
тем явственней отсутствие ланит

и прочего. Плюс запаха и звука.  
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:  
на то и камень (это ли не мука?),  
но то, что страсть, как Шива шестирука,  
бессильна — юбку, он не извинит.

Не от того, что столько утекло  
воды и крови (если б голубая!),  
но от тоски расстегиваться врозь  
воздвиг бы я не камень, но стекло,  
Мари, как воплощение гудбая  
и взгляда, проникающего сквозь.

15

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,  
Мари, что женихи твои в бою  
поднять не звали плотников стропила;  
не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»;  
не чьи-то симпатичные чернила;  
не то, что — за печатями семью —  
Елизавета Англию любила  
сильней, чем ты Шотландию свою  
(замечу в скобках, так оно и было);  
не песня та, что пела соловью  
испанскому ты в камере уныло.  
Они тебе заделали свинью  
за то, чему не видели конца  
в те времена: за красоту лица.

16

Тьма скрадывает, сказано, углы.  
Квадрат, возможно, делается шаром,  
и с на ночь глядя залитым пожаром

багровый лес незримо курлы  
беззвучно внемлет порами коры;  
лай сеттера, встревоженного шалым  
сухим листом, возносится к Стожарам,  
смотрящим на озимые бугры.

Немногое, чем блазилась слеза,  
сумело уцелеть от перехода  
в сень пережня. Вечному перу  
из всех вещей, бросавшихся в глаза,  
осталось следовать за временами года,  
петь на голос «Унылую Пору».

17

То, что исторгло изумленный крик  
из английского рта, что к мату  
склоняет падкий на помаду  
мой собственный, что отвернуть на миг  
Филиппа от портрета лик  
заставило и снарядить Армаду,  
то было — не могу тираду  
закончить — в общем, твой парик,  
упавший с головы упавшей  
(дурная бесконечность), он,  
твой суть единственный поклон,  
пускай не вызвал рукопашной  
меж зрителей, но был таков,  
что поднял на ноги врагов.

18

Для рта, проговорившего «прощай»  
тебе, а не кому-нибудь, не все ли  
одно, какое хлебово без соли

разжевывать впоследствии. Ты, чай,  
привычная к не-доремифасоли.  
А если что не так — не осерчай:  
язык, что крыса, копошится в соре,  
выискивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан.  
Да, у разлуки все-таки не дура  
губа (хоть часто кажется — дыра):  
меж нами — вечность, также — океан.  
Причем, буквально. Русская цензура.  
Могли бы обойтись без топора.

19

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть  
(все выглядит как новое из чистки).  
Жизнь бег свой останавливает в шесть,  
на солнечном не сказываясь диске.  
В озерах — и по-прежнему им несть  
числа — явились монстры (василиски).  
И скоро будет собственная нефть,  
шотландская, в бутылках из-под виски.

Шотландия, как видишь, обошлась.  
И Англия, мне думается, тоже.  
И ты в саду французском непохожа  
на ту, с ума сводившую вчерась.  
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,  
но непохожие на вас обеих.

Пером простым — неправда, что мятежным!  
я пел про встречу в некоем саду  
с той, кто меня в сорок восьмом году  
с экрана обучала чувствам нежным.

Предоставляю вашему суду:

- а) был ли он учеником прилежным,
- б) новую для русского среду,
- с) слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,  
приносит пользу всякому труду.

Ведя ту жизнь, которую веду,  
я благодарен бывшим белоснежным  
листам бумаги, свернутым в дуду.



## МЕКСИКАНСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

*Октавио Пасу*

### Гуернавака

В саду, где М., французский протеже,  
имел красавицу густой индейской крови,  
сидит певец, прибывший издаля,  
Сад густ, как тесно набранное «Ж».  
Летает дрозд, как сросшиеся брови.  
Вечерний воздух звонче хрустала.

Хрусталь, заметим походя, разбит.  
М. был здесь императором три года.  
Он ввел хрусталь, шампанское, балы.  
Такие вещи скрашивают быт.  
Затем республиканская пехота  
М. расстреляла. Грустное курлы

доносится из плотной синевы.  
Селяне околачивают груши.  
Три белых утки плавают в пруду.  
Слух различает в ропоте листвы  
жаргон, которым пользуются души,  
общаясь в переполненном Аду.

Отбросим пальмы. Выделив платан,  
представим М., когда, перо отбросив,  
он скидывает шелковый шлафрок  
и думает, что делает братан  
(и тоже император) Франц-Иосиф,  
насвистывая с грустью «Мой сурок».

«С приветом к вам из Мексики. Жена  
сошла с ума в Париже. За стеною  
дворца стрельба, пылают петухи.  
Столица, милый брат, окружена  
повстанцами. И мой сурок со мною.  
И гочкис популярнее сохи.

И то сказать, третичный известняк  
известен как отчаянная почва.  
Плюс экваториальная жара.  
Здесь пуля есть естественный сквозняк.  
Так чувствуют и легкие, и почка.  
Потею, и слезает кожа.

Опречь того, мне хочется домой.  
Скучаю по отеческим трущобам.  
Пошлите альманахов и поэм.  
Меня убьют здесь, видимо. И мой  
сурок со мною, стало быть. Еще вам  
моя мулатка кланяется. М.».

---

Конец июля прячется в дожди,  
как собеседник в собственные мысли.  
Что, впрочем, вас не трогает в стране,  
где меньше впереди, чем позади.  
Бренчит гитара. Улицы раскисли.  
Прохожий тонет в желтой пелене.

Включая пруд, все сильно заросло.  
Кишат ужи и ящерицы. В кронах  
клубятся птицы с яйцами и без.  
Что губит все династии — число  
наследников при недостатке в тронах.  
И наступают выборы и лес.

М. не узнал бы местности. Из ниш  
исчезли бюсты, портики пожухли,  
стена осела деснами в овраг.  
Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь.  
Сады и парки переходят в джунгли.  
И с губ срывается невольно: рак.

1867

В ночном саду под гроздью зреющего манго  
Максимильян танцует то, что станет танго.  
Тень воз-вращается подобьем бумеранга,  
температура, как под мышкой, тридцать шесть.

Мелькает белая жилетная подкладка.  
Мулатка тает от любви, как шоколадка,  
в мужском объятии посапывая сладко.  
Где надо — гладко, где надо — шерсть.

В ночной тиши под сенью девственного леса  
Хуарец, действуя как двигатель прогресса,  
забывшим начисто, как выглядят два песо,  
пеонам новые винтовки выдает.

Затворы клацают; в расчерченной на клетки  
Хуарец ведомости делает отметки.  
И попугай весьма тропической расцветки  
сидит на ветке и так поет:

Презренье к ближнему у нюхающих розы  
пускай не лучше, но честней гражданской позы.  
И то и это порождает кровь и слезы.

Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,  
распространяется, как мухами — зараза,  
иль как в кафе удачно брошенная фраза,  
и где у черепа в кустах всегда три глаза,  
и в каждом — пышный пучок травы.

### Мерида

Коричневый город. Веер  
пальмы и черепица  
старых построек.  
С кафе начиная, вечер  
входит в него. Садится  
за пустующий столик.

В позлащенном лучами  
ультрамарине неба  
колокол, точно  
кто-то бренчит ключами:  
звук, исполненный неги  
для бездомного. Точка

загорается рядом  
с колокольной собора.  
Видимо, Веспер.  
Проводив его взглядом,  
полным пусть не укора,  
но сомнения, вечер

допивает свой кофе,  
красящий его скулы.

Платит за эту  
чашку. Шляпу на брови  
надвинув, встает со стула,  
складывает газету

и выходит. Пустая  
улица провожает  
длинную в черной  
паре фигуру. Стая  
теней его окружает  
под навесом — никчемный

сброд: дурные манеры,  
пятна, драные петли.  
Он бросает устало:  
«Господа офицеры.  
Выступайте немедленно.  
Время настало.

А теперь — врассыпную.  
Вы, полковник, что значит  
этот луковый запах?»  
Он отвязывает вороную  
лошадь. И скачет  
дальше на Запад.

#### В отеле «Континенталь»

Победа Мондриана. За стеклом —  
пир кубатуры. Воздух или выпит  
под девяносто градусов углом,  
иль щедро залит в параллелепипед.  
В проем оконный вписано, бедро  
красавицы — последнее оружие:  
раскрыв халат, напоминает про

пускай не круг хотя, но полукружье,  
но сектор циферблата.

Говоря  
насчет ацтеков, слава краснокожим  
за честность вычесть из календаря  
дни месяца, в которые «не можем»  
в платоновой пещере, где на брата  
приходится кусок пиэрквадрата.

### Мексиканский романсеро

Кактус, пальма, агава.  
Солнце встает с Востока,  
улыбаясь лукаво,  
а приглядишь — жестоко.

Испепеленные скалы,  
почва в мертвой коросте.  
Череп в его оскале!  
И в лучах его — кости!

С голой шеей, уродлив,  
на телеграфном насесте  
стервятник — как иероглиф  
падали в буром тексте

автострады. Направо  
пойдешь — там стоит агава.  
Она же — налево. Прямо —  
груда ржавого хлама.

---

Вечерний Мехико-Сити.  
Лень и слепая сила  
в нем смешаны, как в сосуде.  
И жизнь течет, как текила.

Улицы, лица, фары.  
Каждый второй — усатый.  
На Авениде Реформы  
масса бронзовых статуй.

Подле каждой, на кромке  
тротуара, с рукою  
протянутой — по мексиканке  
с грудным младенцем. Такою

фигурой — присохшим плачем —  
и увенчать бы на деле  
Памятник Мексике! Впрочем,  
и под ним бы сидели.

---

Сад громоздит листву и  
не выдает вас зною.  
(Я знал, что я существую,  
пока ты была со мною.)

Площадь. Фонтан с рябою  
нимфою. Скаты кровель.  
(Покуда я был с тобою,  
я видел все вещи в профиль.)

Райские кущи с адом  
голосов за спиною.  
(Кто был все время рядом,  
пока ты была со мною?)

Ночь с багровой луною,  
как сургуч на конверте.  
(Пока ты была со мною,  
я не боялся смерти.)

---

Вечерний Мехико-Сити.  
Большая любовь к вокалу.  
Бродячий оркестр в беседке  
горланит «Гвадалахару».

Веселый Мехико-Сити.  
Точно картина в раме,  
но неизвестной кисти,  
он окружен горами.

Вечерний Мехико-Сити.  
Пляска горячих литер  
Кока-Колы. В зените  
реет Ангел-Хранитель.

Здесь это связано с риском  
быть подстреленным с ходу,  
сделаться обелиском  
и представлять Свободу.

---

Что-то внутри, похоже,  
сорвалось, расколосось.  
Произнося «о Боже»,  
слышу собственный голос.

Так страницу мараешь  
ради мелкого чуда.  
Так при этом зриаешь  
на себя ниоткуда.

Это, Отче, издержки  
жанра (правильней — жара).  
Сдача медная с решки  
безвозмездного дара.



Как несхоже с мольбою!  
Так, забыв рыболова,  
рыба рваной губою  
тщетно дергает слово.

---

Веселый Мехико-Сити.  
Жизнь течет, как текила.  
Вы в харчевне сидите.  
Официантка забыла

о вас и вашем омлете,  
заболтавшись с брюнетом.  
Впрочем, как все на свете.  
По крайней мере, на этом.

Ибо, смерти помимо,  
все, что имеет дело  
с пространством,— все заменимо.  
И особенно тело.

И этот вам уготован  
жребий, как мясо с кровью.  
В нищей стране никто вам  
вслед не смотрит с любовью.

---

Стелющаяся полого  
грунтовая дорога,  
как пыльная форма бреда,  
вас приводит в Ларедо.

С налитым кровью глазом  
вы осядете наземь,  
подломивши колени,  
точно бык на арене.

Жизнь бессмысленна. Или  
слишком длинна. Что в силе  
речь о нехватке смысла  
оставляет — как числа

в календаре настенном.  
Что удобно растеньям,  
камню, светилам. Многим  
предметам. Но не двуногим.

К Евгению

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.  
Безупречные геометрические громады  
рассыпаны там и сям на Тегуантепекском  
перешейке.  
Хочется верить, что их воздвигли космические  
пришельцы,  
ибо обычно такие вещи делаются рабами.  
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке  
с необычайной легкостью, вызывающей  
кривотолки.  
Барельефы с разными сценами, снабженные  
перевитым  
туловищем змеи неразгаданным алфавитом  
языка, не знавшего слова «или».  
Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах  
над соседним племенем, о разбитых  
головах. О том, что слитая в миску  
Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем  
мышцу;

что вечерняя жертва восьми молодых и сильных  
обеспечивает восход надежнее, чем будильник.

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла  
единорогов Кортеса, чем эта жертва.  
Ежели вам глаза скормить суждено воронам,  
лучше если убийца убийца, а не астроном.  
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось  
толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,  
всюду жестокость и тупость воскликнут:

«Здравствуй,  
вот и мы!» Ленъ загонять в стихи их.  
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...».  
Далеко же видел, сидя в родных болотах!  
От себя добавлю: на всех широтах.

#### Заметка для энциклопедии

Прекрасная и нищая страна.  
На Западе и на Востоке — пляжи  
двух океанов. Посредине — горы,  
леса, известняковые равнины  
и хижины крестьян. На Юге — джунгли  
с руинами великих пирамид.  
На Севере — плантации, ковбой,  
переходящие невольню в США.  
Что позволяет перейти к торговле.

Предметы вывоза — марихуана,  
цветной металл, посредственное кофе,  
сигары под названием «Корона»  
и мелочи народных мастеров.

(Прибавлю: облака.) Предметы ввоза — все прочее и, как всегда, ружье. Обзаведясь которым, как-то легче заняться государственным устройством.

История страны грустна; однако, нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным злом признано вторжение испанцев и варварское разрушение древней цивилизации ацтеков. Это суть местный комплекс Золотой Орды. С той разницею, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком.

Сегодня тут Республика. Трехцветный флаг развевается над президентским палаццо. Конституция прекрасна. Текст со следами сильной чехарды диктаторов лежит в Национальной Библиотеке под зеленым, пуленепроницаемым стеклом — причем, таким же, как в роллс-ройсе президента.

Что позволяет сквозь него взглянуть в грядущее. В грядущем население, бесспорно, увеличится. Пеон как прежде будет взмахивать мотыгой под жарким солнцем. Человек в очках листать в кофейне будет с грустью Маркса. И ящерица на валуне, задрав головку в небо, будет наблюдать

полет космического аппарата.

*Михаилу Барышникову*

Классический балет есть замок красоты,  
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой  
пиликающей ямой оркестровой  
отделены. И задраны мосты.

В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,  
и, крылышкуя скорописью ляжек,  
красавица, с которою не ляжешь,  
одним прыжком выпархивает в сад.

Мы видим силы зла в коричневом трико,  
и ангела добра в невыразимой пачке.  
И в силах пробудить от элизийской спячки  
орация Чайковского и К°.

Классический балет! Искусство лучших дней!  
Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,  
и мчались лихачи, и пелось бобзоби,  
и ежели был враг, то он был — маршал Ней.

В зрачках городских желтели купола.  
В каких рождались, в тех и умирали гнездах.  
И если что-нибудь взлетало в воздух,  
то был не мост, то Павлова была.

Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,  
Барышникова зреть. Талант его не стерся!  
Усилие ноги и судорога торса  
с вращением вокруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа  
как в девках заждалась, готовая озлиться!  
А что насчет того, где выйдет приземлиться,  
земля везде тверда; рекомендую США.

*1976*

## НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,  
гроб на лафете, лошади круп.  
Ветер сюда не доносит мне звуков  
русских военных плачущих труб.  
Вижу в регалии убранный труп:  
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали  
стены, хоть меч был вражьих тупей,  
блеском маневра о Ганнибале  
напоминавший средь волжских степей.  
Кончивший дни свои глухо, в опале,  
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской  
в землю чужую! Что ж, горевал?  
Вспомнил ли их, умирающий в штатской  
белой кровати? Полный провал.  
Что он ответит, встретившись в адской  
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы  
больше уже не приложит в бою.  
Спи! У истории русской страницы  
хватит для тех, кто в пехотном строю  
смело входили в чужие столицы,  
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета  
эти слова и твои прахоря.  
Все же, прими их — жалкая лепта  
родину спасшему, вслух говоря.  
Бей, барабан, и, военная флейта,  
громко свисти на манер снегиря.

1974



## ЧАСТЬ РЕЧИ

1975—1976

\* \* \*

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,  
дорогой уважаемый милая, но не важно  
даже кто, ибо черт лица, говоря  
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но  
и ничей верный друг вас приветствует с одного  
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;  
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,  
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;  
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,  
в городке, занесенном снегом по ручку двери,  
извиваясь ночью на простыне —  
как не сказано ниже по крайней мере —  
я взбиваю подушку мычащим «ты»  
за морями, которым конца и края,  
в темноте всем телом твои черты,  
как безумное зеркало повторяя.

\* \* \*

Север крошит металл, но щадит стекло.  
Учит гортань проговорить «впусти».  
Холод меня воспитал и вложил перо  
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря  
солнце садится, и никого кругом.  
То ли по льду каблук скользит, то ли  
сама земля  
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положён смех,  
или речь, или горячий чай,  
все отчетливей раздаётся снег  
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

\* \* \*

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,  
под него ложащуюся, точно под татарву.  
Узнаю этот лист, в придорожную грязь  
падающий, как обагранный князь.  
Растекаясь широкой стрелой по косо́й скуле  
деревянного дома в чужой земле,  
что гуся по полету, осень в стекле внизу  
узнает по лицу слезу.  
И, глаза закатывая к потолку,  
я не слово о номер забыл говорю полку,  
но кайсацкое имя язык во рту  
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

\* \* \*

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.  
Взгляд оставляет на вещи след.  
Вода представляет собой стекло.  
Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.  
Веранда под натиском ивняка.  
Тело покоится на локте,  
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск  
извлекут с проступившим сквозь бахрому  
оттиском «доброй ночи» уст  
не имевших сказать кому.

\* \* \*

Потому что каблук оставляет следы — зима.  
В деревянных вещах замерзая в поле,  
по проходим себя узнают дома.  
Что сказать ввечеру о грядущем, коли  
воспоминанье в ночной тиши  
о тепле твоих — пропуск — когда уснула,  
тело отбрасывает от души  
на стену, точно тень от стула  
на стену ввечеру свеча,  
и под скатертью стянутым к лесу небом  
над силосной башней натертый крылом грача  
не отбелишь воздух колючим снегом.

\* \* \*

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса налетают порывы резкого ветра. Голос старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.

Низвергается дождь; перекрученные канаты хлещут спины холмов, точно лопатки в бане. Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады, как соленый язык за выбитыми зубами. Одичавшее сердце все еще бьется за два. Каждый охотник знает, где сидят фазаны,— в лужице под лежачим. За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим.

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, выющийся между ними, как мокрый волос; если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная в них различит не рокот, но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник, кипящий на керосинке, максимум — крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха: глаз не посетует на недостаток эха.

\* \* \*

Что касается звезд, то они всегда.  
То есть, если одна, то за ней другая.  
Только так оттуда и можно смотреть сюда;  
вечером, после восьми, мигая.  
Небо выглядит лучше без них. Хотя  
освоение космоса лучше, если  
с ними. Но именно не сходя  
с места, на голой веранде, в кресле.  
Как сказал, половину лица в тени  
пряча, пилот одного снаряда,  
жизни, видимо, нету нигде, и ни  
на одной из них не удержишь взгляда.



В городке, из которого смерть расползлась  
по школьной карте,  
мостовая блестит, как чешуя на карпе,  
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,  
и чугунный лев скучает по пылкой речи.  
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,  
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;  
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,  
но никто не сходит больше у стадиона.  
Настоящий конец войны — это на тонкой спинке  
венского стула платье одной блондинки  
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,  
уносящей жизни на Юг в июле.

*Мюнхен*

\* \* \*

Около океана, при свете свечи; вокруг  
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.  
Вечеру у тела, точно у Шивы, рук,  
дотянуться желающих до бесценной.  
Упадая в траву, сова настигает мышь,  
беспричинно поскрипывают стропила.  
В деревянном городе крепче спишь,  
потому что снится уже только то, что было.  
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип  
профиль стула, тонкая марля вяло  
шевелится в окне; и луна поправляет лучом  
прилив,  
как сползающее одеяло.

М. Б.

Ты забыла деревню, затерянную в болотах  
залесенной губернии, где чучел на огородах  
отродясь не держат — не те там злаки,  
и дорогой там тоже все гати да буераки.  
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва  
ли,  
а как жив, то пьяный сидит в подвале,  
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,  
говорят, калитку не то ворота.  
А зимой там колют дрова и сидят на репе,  
и звезда моргает от дыма в морозном небе.  
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли  
да пустое место, где мы любили.

\* \* \*

Тихотворение мое, мое немое,  
однако, тяглое — на страх поводьям,  
куда пожалуемся на ярмо и  
кому поведаем, как жизнь проводим?  
Как поздно за полночь ища глазунию  
луны за шторами зажженной спичкою,  
вручную стряхиваешь пыль безумия  
с осколков желтого оскала в писчую.  
Как эту борзопись, что гуще патоки,  
там ни размазывай, но с кем в колене и  
в локте хотя бы преломить, опять-таки,  
ломоть отрезанный, тихотворение?

Темно-синее утро в заиндевевшей раме  
напоминает улицу с горящими фонарями,  
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,  
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.  
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле,  
сильно пахнут подмышками брусня

на физкультуре;  
что до черной доски, от которой мороз по коже,  
так и осталась черной. И сзади тоже.

Дребезжащий звонок серебристый иней  
преобразил в кристалл. Насчет параллельных  
линий

все оказалось правдой и в кость оделось;  
неохота вставать. Никогда не хотелось.

\* \* \*

С точки зрения воздуха, край земли  
всюду. Что, скашивая облака,  
совпадает — чем бы ни замели  
следы — с ощущением каблука.  
Да и глаз, который глядит окрест,  
скашивает, что твой серп, поля;  
сумма мелких слагаемых при перемене мест  
неузнаваемое нуля.  
И улыбка скользнет, точно тень грача  
по щербатой изгороди, пышный куст  
шиповника сдерживая, но крича  
жимолостью, не разжимая уст.

\* \* \*

Заморозки на почве и облысение леса,  
небо серого цвета кровельного железа.  
Выходя во двор нечетного октября,  
ежась, число округляешь до «ох ты бля».  
Ты не птица, чтоб улетать отсюда.  
Потому что как в поисках милой всю-то  
ты проехал вселенную, дальше вроде  
нет страницы податься в живой природе.  
Зазимую же тут, с черной обложкой рядом,  
проницаемой стужей снаружи, отсюда —  
взглядом,  
за бугром в чистом поле на штабель слов  
пером кириллицы наколов.

Всегда остается возможность выйти из дому на  
улицу, чья коричневая длина  
успокоит твой взгляд подъездами, худобою  
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.  
На пустой голове бриз шевелит ботву,  
и улица вдалеке сужается в букву «У»  
как лицо к подбородку, и лающая собака  
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.  
Улица. Некоторые дома  
лучше других: больше вещей в витринах;  
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,  
то, во всяком случае, не внутри них.



Итак, пригревает. В памяти, как на меже,  
прежде доброго злака маячит плевел.  
Можно сказать, что на Юге в полях уже  
высевают сорго — если бы знать, где Север.  
Земля под лапкой грача действительно горяча;  
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко  
зажмурились от слепящего солнечного луча,  
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,  
беготню в коридоре, эмалированный таз,  
человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,  
и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,  
но обмякшее тело и лужу крови.

\* \* \*

Если что-нибудь петь, то перемену ветра,  
западного на восточный, когда замерзшая ветка  
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,  
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.  
В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в  
то, что в поле  
кажется зайцем, предоставляя пуле  
увеличить разрыв между сбившимся напрочь с  
темпа  
пишущим эти строки пером и тем, что  
оставляет следы. Иногда голова с рукою  
сливаются, не становясь строкою,  
но под собственный голос, перекатывающийся  
картаво,  
подставляя ухо, как часть кентавра.

...и при слове «грядущее» из русского языка  
выбегают мыши и всей оравой  
отгрызают от лакомого куска  
памяти, что твой сыр дырявой.  
После стольких зим уже безразлично, что  
или кто стоит в углу у окна за шторой,  
и в мозгу раздается не неземное «до»,  
но ее шуршание. Жизнь, которой,  
как дареной вещи, не смотрят в пасть,  
обнажает зубы при каждой встрече.  
От всего человека вам остается часть  
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.  
За рубашкой в комод полезешь, и день потеряян.  
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все  
это —

города, человекoв, но для начала зелень.  
Стану спать не раздевшись или читать с любого  
места чужую книгу, покамест остатки года,  
как собака, сбежавшая от слепого,  
переходят в положенном месте асфальт.

Свобода —  
это когда забываешь отчество у тирана,  
а слюна во рту слаще халвы Ширази,  
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,  
ничего не каплет из голубого глаза.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА

А. Б.

1975

I

Восточный конец Империи погружается в ночь.  
Цикады  
умолкают в траве газонов. Классические цитаты  
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом  
безучастно  
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.  
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,  
звякают клавиши Рэя Чарлза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном  
пляже  
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной  
пряжи,  
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной  
башне  
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.  
Фонари в конце улицы, точно пуговицы у  
расстегнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в  
средство  
передвиженья по комнате к тумбочке с виски.  
Сердце  
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,

поблуждав по артериям, возвращается к  
перекрестку.

Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,  
и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось.

Пыль  
покрывает квадратные вещи. Проезжающий  
автомобиль  
продлеает пространство за угол, мстя Эвклиду.  
Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,  
превращая их не столько в бежавших прочь,  
как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от  
какового еще сильнее выступает пот.

То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь  
одним — звездой.

Птица, утратившая гнездо, яйцо  
на пустой баскетбольной площадке кладет в  
кольцо.

Пахнет мятой и резедой.

## II

Как бессчетным женам гарема всеильный Шах  
изменить может только с другим гаремом,  
я сменил империю. Этот шаг  
продиктован был тем, что несло горелым  
с четырех сторон — хоть живот крести;  
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,  
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,  
чуя яйцами холод их злых секир,

как при входе в воду. И вот, с соленым  
вкусом этой воды во рту,  
я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу  
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.  
Супротив друг друга стояли, топча росу,  
точно длинные строчки еще не закрытой книги,  
армии, занятые игрой,  
и чернели икрой

города. А после сгустился мрак.  
Все погасло. Гудела турбина, и ныло  
темя.

И пространство пятилось, точно рак,  
пропуская время вперед. И время  
шло на запад, точно к себе домой,  
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,  
север был там, где у пчелки жало.  
Я увидел новые небеса  
и такую же землю. Она лежала,  
как это делает отродясь  
плоская вещь: пылясь.

### III

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже  
одиночество. Кожа спины благодарна коже  
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на  
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск  
покрывает костяшки суставов. Мозг  
бьется, как льдинка о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой бильярдной  
некто

вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,  
чиркая спичкой. Белозубая колоннада  
Окружного Суда, выходящая на бульвар,  
в ожидании вспышки случайных фар  
утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,  
письмена «Кока-Колы». В заросшем саду курзала  
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,  
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,  
шебуршит газетой в литье ограды,  
сооруженной, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся  
на ружье,

Неизвестный Союзный Солдат делается еще  
более неизвестным. Траулер трется ржавой  
переносицей о бетонный причал. Жужжа,  
вентилятор хватает горячий воздух США  
металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след,  
океан громоздится во тьме, миллионы лет  
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко  
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,  
будешь долго падать, руки по швам; но не  
воспоследует всплеска.

#### IV

Перемена империи связана с гулом слов,  
с выделением слюны в результате речи,  
с лобачевской суммой чужих углов,  
с возрастанием исподволь шансов встречи  
параллельных линий (обычной на  
полюсе). И она,



перемена, связана с колкой дров,  
с превращеньем мятой сырой изнанки  
жизни в сухой платяной покров  
(в стужу — из твида, в жару — из нанки),  
с затвердевающим под орех  
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза  
сохраняют свою студенистость. Ибо  
перемена империи связана с взглядом за  
море (затем что внутри нас рыба  
дремлет), с фактом, что ваш прибор,  
как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С большой  
десной  
и с изжогой, вызванной новой пищей.  
С сильной матовой белизной  
в мыслях — суть отраженьем писчей  
гладкой бумаги. И здесь перо  
рвется поведать про

сходство. Ибо у вас в руках  
то же перо, что и прежде. В рощах  
те же растения. В облаках  
тот же гудящий бомбардировщик,  
летающий неведомо что бомбить.  
И сильно хочется пить.

## V

В городках Новой Англии, точно вышедших из  
прибоя,  
вдоль всего побережья, поблескивая рябою  
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками  
стоят в темноте дома, угодивши в сеть  
континента, который открыли сельдь

и треска. Ни треска, ни  
сельдь, однако же, тут не сподобились гордых  
статуй,  
невзирая на то, что было бы проще с датой.  
Что касается местного флага, то он украшен  
тоже не ими и в темноте похож,  
как сказал бы Салливен, на чертеж  
в тучи заданных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным  
полотенцем  
горлом. Ночной мотылек всем незавидным  
тельцем,  
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно  
пуля,  
посланная природой из невидимого куста  
в самое себя, чтоб выбить одно из ста  
в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно,  
боль  
затухает с годами. Если время играет роль  
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,  
ставши формой бессонницы: пробираясь пешком и  
вплывь,  
в полушарьи орла сны содержат дурную явь  
полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений,  
далекый лай.  
Голова, покачнувшись, удерживает на край  
памяти сползшие номера телефонов, лица.  
В настоящих трагедиях, где занавес — часть  
плаща,  
умирает не гордый герой, но, по швам треща  
от износу, кулиса.

Потому что поздно сказать «прощай»  
и услышать что-либо в ответ, помимо  
эха, звучащего как «на-чай»  
времени и пространству, мнимо  
величавым и возводящим в куб  
все, что сорвется с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,  
их выводящей почти вслепую,  
на секунду опередить «на кой?»,  
с оных готовое губ в любую  
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,  
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края  
опускаются под воду. Снявши пробу с  
двух океанов и континентов, я  
чувствую то же, почти, что глобус.  
То есть, дальше некуда. Дальше — ряд  
звезд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,  
где присохла к изнанке листа улитка.  
Говоря «бесконечность», в виду всегда  
я имел искусство деления литра  
без остатка на три при свете звезд,  
а не избыток верст.

Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».  
Легионы спят, прислонясь к когортам,  
форумы — к циркам. Луна вверху,  
как пропавший мяч над безлюдным кортом.  
Голый паркет — как мечта ферзя.  
Без мебели жить нельзя.

## VII

Только затканый сплошь паутиной угол имеет  
право  
именоваться прямым. Только услышав «браво»,  
с полу встает актер. Только найдя опору,  
тело способно поднять вселенную на рога.  
Только то тело движется, чья нога  
перпендикулярна полу.

Духота. Толчея тараканов в амфитеатре тусклой  
цинковой раковины перед бесцветной тушей  
высохшей губки. Поворачивая корону,  
медный кран, словно цезарево чело,  
низвергает на них не щадящую ничего  
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы  
сыра.

Несомненно, прозрачной вещи присуща сила  
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.  
Даже девять-восемьдесят одна, журча,  
преломляет себя на манер луча  
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,  
как упавшая пагода в профиль. И только те  
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы:  
розы.

Если видишь одну, видишь немедля две:  
насекомые ползают, в алой жужжа ботве,—  
пчелы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,  
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.  
Запах старого тела острее, чем его очертанья.  
Трезвость

мысли снижается. Мозг в суповой кости тает.  
И некому навести взгляда на резкость.

Сохрани на холодные времена  
эти слова, на времена тревоги!  
Человек выживает, как фиш на песке: она  
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,  
уходит, как от пера — строка,  
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс  
ангелы в белом и нимфы моря.  
Для того, на чьи плечи ложится груз  
темноты, жары и — сказать ли — горя,  
они разбегающихся милей  
от брошенных слов нулей.

Даже то пространство, где негде сесть,  
как звезда в эфире, приходит в ветхость.  
Но пока существует обувь, есть  
то, где можно стоять, поверхность,  
суша. И внемяют ее пески  
тихой песне трески:

«Время больше пространства. Пространство —  
вещь.

Время же, в сущности, мысль о вещи.  
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —  
сгустки его. И товар похлеще —  
сгустки. Включая волну и твердь  
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,  
возникает звук, раздаётся слово.  
То ли «любить», то ли просто «эй».  
Но пока разобрать успеваю, снова  
все сменяется рябью слепых полос,  
как от твоих волос».

Человек размышляет о собственной жизни, как  
ночь о лампе.

Мысль выходит в определенный момент за рамки  
одного из двух полушарий мозга  
и сползает, как одеяло, прочь,  
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,  
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.  
Понемногу африка мозга, его европа,  
азия мозга, а также другие капли  
в обитаемом море, осью скрипя сухой,  
обращаются мятой своей щекой  
к электрической цапле.

Чу, смотри: Аладдин произносит «сезам» — перед  
ним золотая груда,  
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,  
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в  
круге  
лампы дева качает ногой колыбель; нагой  
папуас отбивает одной ногой  
на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная  
мрак,  
понимаешь внезапно в постели, что это — брак:  
что за тридевять с лишним земель повернулось на  
бок  
тело, с которым давным-давно  
только и общего есть, что дно  
океана и навык

наготы. Но при этом — не встать вдвоем.  
Потому что пока там — светло, в твоём  
полушарьи темно. Так сказать, одного светила  
не хватает для двух заурядных тел.  
То есть глобус склеен, как Бог хотел.  
И его не хватило.

## Х

Опуская веки, я вижу край  
ткани и локоть в момент изгиба.  
Местность, где я нахожусь, есть рай,  
ибо рай — это место бессилья. Ибо  
это одна из таких планет,  
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,  
угол стола: ты увидишь, это  
вызовет боль. Там, где вещь остра,  
там и находится рай предмета;  
рай, достижимый при жизни лишь  
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик  
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.  
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.  
Мыс, вдающийся в море. Конус.  
Нос железного корабля.  
Но не крикнуть «Земля!»

Можно сказать лишь, который час.  
Это сказав, за движеньем стрелки  
тут остается следить. И глаз  
тонет беззвучно в лице тарелки,  
ибо часы, чтоб в раю уют  
не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:  
в сумме получишь идею места.  
Впрочем, поскольку они — слова,  
цифры тут значат не больше жеста,  
в воздухе тающего без следа,  
словно кусочек льда.

## XI

От великих вещей остаются слова языка, свобода  
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;  
также — тело в виду океана в бумажной шляпе.  
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:  
на его лице, у него в уме  
ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти,  
праха,  
осязая хрупкость кості, уязвимость паха,  
тело служит в виду океана цедающей семя  
крайней плотью пространства: слезой скулу  
серебря,  
человек есть конец самого себя  
и вдается во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь —  
по горло.  
Пара раковин внемет улиткам его глагола:  
то есть, слышит свой собственный голос. Это  
развивает связки, но гасит взгляд.  
Ибо в чистом времени нет преград,  
порождающих эхо.

Духота. Только если, вздохнувши, лечь  
на спину, можно направить сухую речь  
вверх — в направленьи исконно немых  
губерний.



Только мысль о себе и о большой стране  
вас бросает в ночи от стены к стене,  
на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.  
Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.  
Страны путают карты, привыкнув к чужим  
широтам.

И не спрашивай, если скрипнет дверь,  
«Кто там?» — и никогда не верь  
отвечающим, кто там.

## XII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.  
Просит пить, естественно, ради Бога.  
Не отпустишь прохожего без куска.  
И дорогу покажешь ему. Дорога  
извивается. Рыба уходит прочь.  
Но другая, точь-в-точь

как ушедшая, пробует дверь носком.  
(Меж собой две рыбы, что два стакана.)  
И всю ночь идут они косяком.  
Но живущий около океана  
знает, как спать, приглушив в ушах  
мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она  
просто длинна: бугорки, лощины.  
А длинней земли — океан: волна  
набегает порой, как на лоб морщины,  
на песок. А земли и волны длинней  
лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой:  
рай, где есть ангелы, ад, где черти.  
Но длинней стократ вереницы той  
мысли о жизни и мысль о смерти.  
Этой последней длинней в сто раз  
мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда, и сам  
закрывается, чтобы увидеть вещи.  
Только так — во сне — и дано глазам  
к вещи привыкнуть. И сны те вещи  
или зловещи — смотря кто спит.  
И дверью треска скрипит.

## BAGATELLE \*

*Елизавете Леонской*

### I

Помраченье июльских бульваров, когда, точно  
деньги во сне,  
пропадают из глаз, возмущенно шурша,  
миллиарды,  
и как сдача, звезда дребезжит, серебрясь в  
желтизне  
не от мира сего замусоленной ласточкой карты.

Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,  
сокращает красавиц до профилей в ихних камеях;  
от великой любви остается лишь равенства знак  
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.

И ночной аквилон, рыхлой мышце ища волокно,  
как возможную жизнь, теребит взбаламученный  
гарус,  
разодрав каковой, от земли отплывает фоно  
в самодельную бурю, подняв полированный парус.

### II

Города знают правду о памяти, об огромности  
лестниц в так наз.  
разоренном гнезде, о победах прямой над  
отрезком.  
Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас,  
воскресавших со скоростью набранной к ночи  
курьерским.

---

\* Пустяк, чепуха (фр.).

И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука  
то ли машет вослед, в направленьи растроченных  
денег,  
то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака  
из-под пальцев аккордом брэнчащую сумму  
ступенек.

Но чем ближе к звезде, тем все меньше перил;  
у квартир —  
вид неправильных туч, зараженных  
квадратностью, тюлем,  
и версте, чью спираль граммофон до конца  
раскрутил,  
лучше броситься под ноги взапуски замершим  
стульям.

### III

Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,  
время жизни, стремясь отделиться от времени  
смерти,  
обращается к звуку, к его серебру в соловье,  
центробежной иглой разгоняя масштаб  
круговерти.

Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи  
в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,  
руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи  
к бытию вне себя, в просторечьи — к его  
безголосью.

Так лучи подбирают пространство: так пальцы  
слепца  
неспособны отдернуть себя, слыша крик  
«Осторожней!».

Освещенная вещь обрастает чертами лица.  
Чем пластинка черней, тем ее доиграть  
невозможней.

## ДЕКАБРЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Этот, уходя, не оглянулся...

*Анна Ахматова*

I

Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно, население гуляет над обмелевшим Арно, напоминая новых четвероногих. Двери хлопают, на мостовую выходят звери. Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это — красивый город, где в известном возрасте просто отводишь взор от человека и поднимаешь ворот.

II

Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и твой подъезд в двух минутах от Синьории намекает глухо, спустя века, на причину изгнания: вблизи вулкана невозможно жить, не показывая кулака; но и нельзя разжать его, умирая, потому что смерть — это всегда вторая ^  
Флоренция с архитектурой Рая.



звонок порождает в итоге скрипучее «просим,  
просим»:  
в прихожей вас обступают две старые цифры «8».

## VI

В пыльной кофейне глаз в полумраке кепки  
привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке;  
ощущая нехватку в терцинах, в клетке  
дряхлый щегол выводит свои коленца.  
Солнечный луч, разбившийся о дворец, о  
купол собора, в котором лежит Лоренцо,  
проникает сквозь штору и согревает вены  
грязного мрамора, кадку с цветком вербены;  
и щегол разливается в центре проволочной  
Равенны.

## VII

Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери  
хлопают во Флоренции. Одну ли, две ли  
проживаешь жизни, смотря по вере,  
вечером в первой осознаешь: неправда,  
что любовь движет звезды (Луну — подавно)  
ибо она делит все вещи на два —  
даже деньги во сне. Даже, в часы досуга,  
мысли о смерти. Если бы звезды Юга  
двигались ею, то — в стороны друг от друга.

## VIII

Каменное гнездо оглашаемо громким визгом  
тормозов; мостовую пересекаешь с риском  
быть за- $\frac{\text{к}}{\text{п}}$ леваным насмерть. В декабрьском

НИЗКОМ

небе громада яйца, снесенного Брунеллески,  
вызывает слезу в зрачке, наторевшем в блеске  
куполов. Полицейский на перекрестке  
машет руками, как буква «ж», ни вниз, ни  
вверх; репродукторы лают о дороговизне.  
О, неизбежность «ы» в правописании «жизни»!

## IX

Есть города, в которые нет возврата.  
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То  
есть, в них не проникнешь ни за какое золото.  
Там всегда протекает река под шестью мостами.  
Там есть места, где припадал устами  
тоже к устам и пером к листам. И  
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;  
там толпа говорит, осажая трамвайный угол,  
на языке человека, который убыл.

1976



## ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Все собаки съедены. В дневнике  
не осталось чистой страницы. И бисер слов  
покрывает фото супруги, к ее щеке  
мушку даты сомнительной приколов.  
Дальше — снимок сестры. Он не щадит  
сестру:  
речь идет о достигнутой широте!  
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,  
как чулок девицы из варьете.

## РАЗВИВАЯ ПЛАТОНА

### I

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река  
высовывалась бы из-под моста, как из рукава —  
рука,  
и чтоб она впадала в залив, растопырив  
пальцы,  
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-  
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;  
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в  
партере  
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.  
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных  
труб  
я узнавал бы о наступлении воскресенья  
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я вплетал бы свой голос в общий звериный вой  
там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,  
самые главные — пенальти и угловой.

### II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых  
я листал бы тома с таким же количеством запятых,  
как количество скверных слов в ежедневной  
речи,  
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,  
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний  
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облакает квартал в рядно,  
я б скучал в Галерее, где каждое полотно —  
— особенно Энгра или Давида —  
как родимое выглядели бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне стада  
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда  
мимо стройных нагих колонн с дорической  
прической,  
безмятежно белеющих на фронтоне Суда.

### III

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,  
где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если  
есть уже  
девятнадцатый век, я бы видел, как взор  
коллеги  
надолго сосредоточивается на вилке или ноже.

Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,  
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;  
и портрет висел бы в гостиной, давая вам  
представление  
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.

Я внимал бы ровному голосу, повествующему о  
вещах,  
не имеющих отношения к ужину при свечах,

и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы  
багровый отблеск  
на зеленое платье. Но под конец зачах.

Время, текущее в отличие от воды  
горизонтально от вторника до среды,  
в темноте там разглаживало бы морщины  
и стирало бы собственные следы.

#### IV

И там были бы памятники. Я бы знал имена  
не только бронзовых всадников, всунувших в  
стремена  
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,  
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе  
сигаретой сильно за полночь возвращаясь пешком  
к себе,  
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте  
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,  
подрывную активность, бродяжничество, менаж -  
а-трау, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,  
тыча в меня натруженными указательными: «Не  
наш!» —

я бы втайне был счастлив, шепча про себя:  
«Смотри,  
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри  
то, на что ты так долго глядел снаружи;  
запоминай же подробности, восклицая «Vive la  
Patriel»



## СТРОФЫ

*М. Б.*

I

Наподобье стакана,  
оставившего печать  
на скатерти океана,  
которого не перекричать,  
светило ушло в другое  
полушарие, где  
оставляют в покое  
только рыбу в воде.

II

Вечером, дорогая,  
здесь тепло. Тишина  
молчанием попугая  
буквально завершена.  
Луна в кусты чистотела  
льет свое молоко:  
неприкосновенность тела,  
зашедшая далеко.

### III

Дорогая, что толку  
пререкаться, вникать  
в случившееся. Иголку  
больше не отыскать  
в человеческом сене.  
Впору вскочить, разя  
ть; либо — вместе со всеми  
передвигать ферзя.

### IV

Все, что мы звали личным,  
что копили, греша,  
время, считая лишним,  
как прибой с гольша,  
стачивает — то лаской,  
то посредством резца —  
чтобы кончить цикладской  
вещью без черт лица.

### V

Ах, чем меньше поверхность,  
тем надежда скромней  
на безупречную верность  
по отношению к ней.  
Может, вообще пропажа  
тела из виду есть  
со стороны пейзажа  
дальнозоркости месь.

## VI

Только пространство кóрысть  
в тычущем вдаль персте  
может найти. И скорость  
света есть в пустоте.  
Так и портится зренье:  
чем ты дальше проник;  
больше, чем от старенья  
или чтения книг.

## VII

Так же действует плотность  
тьмы. Ибо в смысле тьмы  
у вертикали плоскость  
сильно берет взаймы.  
Человек — только автор  
сжатого кулака,  
как сказал авиатор,  
уходя в облака.

## VIII

Чем безнадежней, тем как-то  
проще. Уже не ждешь  
занавеса, антракта,  
как пылкая молодежь.  
Свет на сцене, в кулисах  
меркнет. Выходишь прочь  
в рукоплесканье листьев,  
в американскую ночь.



## IX

Жизнь есть товар навынос:  
торса, пениса, лба.  
И географии примесь  
к времени есть судьба.  
Нехотя, из-под палки,  
признаешь эту власть,  
подчиняешься Парке,  
обожаящей прясть.

## X

Жухлая незабудка  
мозга кривит мой рот.  
Как тридцать третья буква,  
я пячусь всю жизнь вперед.  
Знаешь, все, кто далече,  
по ком голосит тоска —  
жертвы законов речи,  
запятых, языка.

## XI

Дорогая, несчастных  
нет, нет мертвых, живых.  
Всё — только пир согласных  
на их ножках кривых.  
Видно, сильно превысил  
свою роль свинопас,  
чей нетронутый бисер  
переживет всех нас.

## XII

Право, чем гуще россыпь  
черного на листе,  
тем безразличней особь  
к прошлому, к пустоте  
в будущем. Их соседство,  
мало суля добра,  
лишь ускоряет бегство  
по бумаге пера.

## XIII

Ты не услышишь ответа,  
если спросишь «куда»,  
так как стороны света  
сводятся к царству льда.  
У языка есть полюс,  
где белизна сквозит  
сквозь эльзевир; где голос  
флага не водрузит.

## XIV

Бедность сих строк — от жажды  
что-то спрятать, сберечь;  
обернуться. Но дважды  
в ту же постель не лечь.  
Даже если прислуга  
не меняет белье;  
здесь — не Сатурн, и с круга  
не соскочить в нее.

## XV

С той дурной карусели,  
что воспел Гесиод,  
сходят не там, где сели,  
но где ночь застаёт.  
Сколько глаза ни колешь  
тьмой — расчетом благим  
повторимо всего лишь  
слово: словом другим.

## XVI

Так барашка на вертел  
нижут, разводят жар.  
Я, как мог, обесмертил  
то, что не удержал.  
Ты, как могла, простила  
все, что я натворил.  
В общем, песня сатира  
вторит шелесту крыл.

## XVII

Дорогая, мы квиты.  
Больше: друг к другу мы  
точно оспа привиты  
среди общей чумы.  
Лишь объекту злоречья,  
вместе с шансом в пятно  
уменьшаться, предплечье  
в утешенье дано.

## XVIII

Ах, за щедрость пророчеств —  
дней грядущих шантаж,  
как за бич наших отчеств —  
память, много не дашь.  
Им присуща, как аист  
свёртку, приторность кривд.  
Но мы живы, покамест  
есть прощенье и шрифт.

## XIX

Эти вещи сольются  
в свое время в глазу  
у воззрившихся с блюда  
на пестроту внизу.  
Полагаю, и вправду  
хорошо, что мы врозь,  
чтобы взгляд астронавту  
напрягать не пришлось.

## XX

Вынь, дружок, из кивота  
лик Пречистой Жены.  
Вставь семейное фото —  
вид планеты с Луны.  
Снять нас вместе мордатый  
не сподобился друг,  
проморгал соглядатай;  
в общем, всем недосуг.

## XXI

Неуместней, чем ящер  
в филармонии, вид  
нас вдвоем в настоящем.  
Тем верней удивит  
обитателей завтра  
разведенная здесь  
сильных чувств динозавра  
и кириллицы смесь.

## XXII

Эти строчки по сути  
болтовня старика.  
В нашем возрасте судьи  
удлиняют срока:  
Иванову, Петрову —  
своей хрупкой кости.  
Но свободному слову  
не с кем счеты свести.

## XXIII

Так мы лампочку тушим,  
чтоб сшибить табурет.  
Разговор о грядущем —  
тот же старческий бред.  
Лучше всё, дорогая,  
доводить до конца,  
темноте помогая  
мускулами лица.

## XXIV

Вот конец перспективы  
нашей. Жаль, не длинней.  
Дальше — дивные дива  
времени, лишних дней,  
скачек к финишу в шорах  
городов и т. п.;  
лишних слов, из которых  
ни одно о тебе.

## XXV

Около океана,  
летней ночью. Жара  
как чужая рука на  
темени. Кожура,  
снятая с апельсина,  
жухнет. И свой обряд,  
как жрецы Элевсина,  
мухи над ней творят.

## XXVI

Облокотясь на локоть,  
я слушаю шорох лип.  
Это хуже, чем грохот  
и знаменитый всхлип.  
Это хуже, чем детям  
сделанное «бо-бо».  
Потому что за этим  
не следует ничего.

## ШОРОХ АКАЦИИ

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска  
уводят людей из города. По вечерам — тоска.  
В любую из них спокойно можно ввести войска.  
И только набравши номер одной из твоих подруг,  
не уехавшей до сих пор на юг,  
насторожишься, услышав хохот и воляпюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй  
переменился: все чаще на светофорах — «Стой».  
Приобретая газету, ее начинаешь с той  
колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.  
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.  
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там  
и находится Запад, где выручают дам,  
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,  
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,  
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.  
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.  
Это одно способно привести вас в восторг.  
Единственное, что выдает Восток,  
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,  
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный  
пик,  
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,  
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,  
в ванной комнате, в четыре часа утра,  
из овала над раковиной, в которой бурлит моча,  
на тебя тарашится, сжав рукоять меча,  
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».



## ПОЛОНЕЗ: ВАРИАЦИЯ

Z. K.

### I

Осень в твоём полушарьи кричит «курлы».  
С обнищавшей державы сползает границ подпруга.  
И, хотя окно не закрыто, уже углы  
привыкают к сорочке, как к центру круга.  
А как лампу зажжешь, хоть строчи донос  
на себя в никуда, и перо — улика.  
Плюс могилы нет, чтоб исправить нос  
в пианино ушедшего Фредерика.  
В полнолуние жнивье из чужой казны  
серебром одаривает мочезжина.  
Повернешься на бок к стене, и сны  
двинут оттуда, как та дружина,  
через двор на зады, прорывать кольцо  
конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ.  
И затем что все на одно лицо,  
согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь.

### II

Черепица фольварков да желтый цвет  
штукатурки подворья, карнизы — бровью.  
Балагола одним колесом в кювет  
либо — мерин копытом в луну коровью.  
И мелькают стога, завалившись в Буг,  
вспять плетется ольшаник с водой в корзинах;

и в распаханых тучах свинцовый плуг  
не сулит добра площадям озимых.  
Твой холщовый подол, шерстяной чулок,  
как ничей ребенок, когтит репейник.  
На суровую нитку пространство впрок  
зашивает дождем — и прощай Коперник.  
Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет  
тела с россыпью родинок застит платье.  
Для самой себя уже силуэт,  
ты упасть не способна ни в чьи объятия.

### III

Понимаю, что можно любить сильнее,  
безупречней. Что можно, как сын Кибелы,  
оценить темноту и, смешавшись с ней,  
выпасть незримо в твои пределы.  
Можно, по́ру за по́рой, твои черты  
воссоздать из молекул пером сугубым.  
Либо, в зеркало вперясь, сказать, что ты  
это — я; потому что кого ж мы любим,  
как не себя? Но запишем судьбе очко:  
в нашем будущем, как бы брегет ни медлил,  
уже взорвалась та бомба, что  
оставляет нетронутой только мебель.  
Безразлично, кто от кого в бегах:  
ни пространство, ни время для нас не сводня,  
и к тому, как мы будем всегда, в веках,  
лучше привыкнуть уже сегодня.

## КВИНТЕТ

*Марку Стрэнду*

I

Веко подергивается. Изо рта  
вырывается тишина. Европейские города  
настигают друг друга на станциях. Запах мыла  
выдает обитателю джунглей приближающегося  
врага.

Там, где ступила твоя нога,  
возникают белые пятна на карте мира.

В горле першит. Путешественник просит пить.  
Дети, которых надо бить,  
оглашают воздух пронзительным криком. Веко  
подергивается. Что до колонн, из-за  
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв  
глаза,  
даже во сне вы видите человека.

И накапливается как плевков в груди:  
«Дай мне чернил и бумаги, а сам уйди  
прочь!» И веко подергивается. Невнятные  
причитанья  
за стеной (будто молются) увеличивают тоску.  
Чудовищность творящегося в мозгу  
придает незнакомой комнате знакомые очертанья.

## II

Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты  
вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты.  
Но — темнеет. Присядь, перекинься шуткой  
с говорящей по-южному, нараспев,  
обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев  
стать человеком, сделалась проституткой.

Лучше плыть пароходом, качающимся на волне,  
участвуя в географии, в голубизне, а не  
только в истории — этой коросте суши.  
Лучше Гренландию пересекать, скрипя  
лыжами, оставляя после себя  
айсберги и тюленьи туши.

Алфавит не даст позабыть тебе  
цель твоего путешествия — точку «Б».  
Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай;  
слышен лай дворняг, рожь заглушил сорняк;  
там, как над шкуркой зверька скорняк,  
офицеры Генштаба орудуют над порыжевшей  
картой.

## III

Тридцать семь лет я смотрю в огонь.  
Веко подергивается. Ладонь  
покрывается потом. Полицейский, взяв документы,  
выходит в другую комнату. Воздвигнутый впопыхах,  
obelisk кончается нехотя в облаках,  
как удар по Эвклиду, как след кометы.

Ночь; дожив до седин, ужинаешь один,  
сам себе быдло, сам себе господин.  
Вобла лежит поперек крупно набранного сообщенья

об изверженьи вулкана черт знает где,  
иными словами, в чужой среде,  
упираясь хвостом в «Последние Запрещенья».

Я понимаю только жужжанье мух  
на восточных базарах! На тротуаре в двух  
шагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети,  
путешественник ловит воздух раскрытым ртом:  
сильная боль, на этом убив, на том  
продолжается свете.

#### IV

«Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор,  
племянник. И, пальцем блуждая по складкам гор,  
«Здесь» — говорит племянница. Поскрипывают  
качели

в старом саду. На столе букет  
фиалок. Солнце слепит паркет.  
Из гостиной доносятся пассажи виолончели.

Ночью над плоскогорьем висит луна.  
От валуна отделяется тень слона.  
В серебре ручья нет никакой корысти.  
В одинокой комнате простыню  
комкает белое (смуглое) просто ню —  
жидопись неизвестной кисти.

Весной в грязи копошится труженик-муравей,  
появляется грач, твари иных кровей;  
листва прикрывает ствол в месте его изгиба.  
Осенью ястреб дает круги  
над селеньем, считая цыплят. И на плечах слуги  
болтается белый пиджак сагиба...

Было ли сказано слово? И если да, —  
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда  
нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник  
мысли? Помнит ли целое роль частиц?  
Что способен подумать при виде птиц  
в аквариуме ботаник?

Теперь представим себе абсолютную пустоту.  
Место без времени. Собственно воздух. В ту,  
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка  
воздуха. Кислород, водород. И в нем  
мелко подергивается день за днем  
одинокое веко.

Это — записки натуралиста. За-  
писки натуралиста. Капающая слеза  
падает в вакууме без всякого ускоренья.  
Вечнозеленое неврастение, слыша жжу  
це-це будущего, я дрожу,  
вцепившись ногтями в свои корни.

1977

ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН:  
ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

I

Взбаламутивший море  
ветер рвется, как ругань с расквашенных губ,  
в глубь холодной державы,  
заурядное до-ре-  
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.  
Не-царевны-не-жабы  
припадают к земле,  
и сверкает звезды оловянная гривна.  
И подобье лица  
растекается в черном стекле,  
как пощечина ливня.

II

Здравствуй, Томас. То — мой  
призрак, бросивший тело в гостинице где-то  
за морями, гребя  
против северных туч, поспешает домой,  
вырываясь из Нового Света,  
и тревожит тебя.

III

Поздний вечер в Литве.  
Из костелов бредут, хороня запятые  
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах  
куры роются клювами в жухлой дресве.  
Над жнивьем Жемайтии  
вьется снег, как небесных обитателей прах.  
Из раскрытых дверей  
пахнет рыбой. Малец полуголый  
и старуха в платке загоняют корову в сарай.  
Запоздалый еврей  
по брусчатке местечка гремит балаголой,  
вожжи рвет  
и кричит залихватски: «Герай!»

IV

Извини за вторженье.  
Сочти появление за  
возвращенье цитаты в ряды «Манифеста»:  
чуть картавей,  
чуть выше октавой от странствий вдали.  
Потому — не крестись,  
не ломай в кулаке картуза:  
сгину прежде, чем грянет с насеста  
петушиное «пли».  
Извини, что без спросу.  
Не пьются от страха в чулан:  
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус  
бренность.  
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,  
над балтийской волной  
я жужжу, точно тот моноплан —  
точно Дариус и Гиренас,  
но не так уязвим.



## V

Поздний вечер в Империи,  
в нищей провинции.

Вброд

перешедшее Неман еловое войско,  
ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет.

Багровеет известка  
трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как  
пойманный лещ.

Вверх взвивается занавес в местном театре.

И выносят на улицу главную вещь,  
разделенную на три  
без остатка;  
сквозняк теребит бахрому  
занавески из тюля. Звезда в захолустье  
светит ярче: как карта, упавшая в масть.

И впадает во тьму,  
по стеклу барабаня, руки твоей устье.  
Больше некуда впасть.

## VI

В полночь всякая речь  
обретает ухватки слепца;  
так что даже «отчизна» на ощупь — как Леди Годива.

В паутине углов  
микрофоны спецслужбы в квартире певца  
пишут скрежет матраца и всплески мотива  
общей песни без слов.

Здесь панует стыдливость. Листва, нороя  
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,  
возмущает фонарь. Отменив рупора,  
миру здесь о себе возвещают, на муравья  
наступив ненароком, невнятной морзянкой  
пульса, скрипом пера.

## VII

Вот откуда твои  
щек мучнистость, безадресность глаза,  
шепелявость и волосы цвета спитой,  
тусклой чайной струи.  
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза  
на пути к запятой.  
Вот откуда моей,  
как ее продолжение вверх, оболочки  
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы  
ивняка и т. п., очертанья морей,  
их страниц перевернутость в поисках точки,  
горизонта, судьбы.

## VIII

Наша письменность, Томас! с моим, за поля  
выходящим сказуемым! с хмурым твоим  
домоседством  
подлежащего! Прочный, чернильный союз,  
кружева, вензеля,  
помесь литеры римской с кириллицей: цели  
со средством,  
как велел Макроус!  
Наши оттиски! в смятых сырых простынях —  
этих рыхлых извилинах общего мозга! —  
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.  
Либо — просто синяк  
на скуле мироздания от взгляда подростка,  
от попытки на глаз  
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы  
до лица, многооко смотрящего мимо,  
как раскосый монгол за земной частокол,

чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы —  
и, нащупав язык, на манер серафима  
переправить глагол.

## IX

Мы похожи;  
мы, в сущности, Томас, одно:  
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.  
Друг для друга мы суть  
обоюдное дно  
амальгамовой лужи,  
неспособной блеснуть.  
Покривись — я отвечу ухмылкой кривой,  
отзовусь на зевоту немотой, раздирающей полость,  
разольюсь в три ручья  
от стоваттной слезы над твоей головой.  
Мы — взаимный конвой,  
проступающий в Касторе Поллукс,  
в просторечьи — ничья,  
пат, подвижная тень,  
приводимая в действие жаркой лучиной,  
эхо возгласа, сдача с рубля.  
Чем сильнее жизнь испорчена, тем  
мы в ней неразличимей  
ока праздного дня.

## X

Чем питается призрак? Отбросами сна,  
отрубями границ, шелухой цифири:  
явь всегда норовит сохранить адреса.  
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,  
желтизну подворотни как сыр простофили  
пожирает лиса

темноты. Место, времени мстя  
за свое постоянство жильцом, постояльцем,  
жизнью в нем, отпирает засов,—  
и, эпоху спустя,  
я тебя застаю в замусоленной пальцем  
сверхдержаве лесов  
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты  
и особенно позу: в сырой конопляной  
многоверстной рубаше, в гудящих стальных бигуди  
Мать-Литва засыпает над плесом,  
и ты  
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной,  
пол-литровой груди.

## XI

Существуют места,  
где ничто не меняется. Это —  
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.  
Там шлагбаумы на резкость наводит верста.  
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.  
Там с лица сторожа  
моложавей. Минувшее смотрит вперед  
настороженным глазом подростка в шинели,  
и судьба нарушителем пятится прочь  
в настоящую старость с плевком на стене,  
с ломотой, с бесконечностью в форме панели  
либо лестницы. Ночь  
и взаправду граница, где, как татарва,  
территориям прожитой жизни набегом  
угрожает действительность и, наоборот,  
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,  
где что веко ни спрячет,  
что явь печенегом  
как трофей подберет.

## XII

Полночь. Сойка кричит  
человеческим голосом и обвиняет природу  
в преступленьях термометра против нуля.  
Витовт, бросивший меч и похеривший щит,  
погружается в Балтику в поисках броду  
к шведам. Впрочем, земля  
и сама завершается молом, погнавшимися за,  
как по плоским ступенькам, по волнам  
убежавшей свободой.  
Усилья бобра  
по постройке запруды венчает слеза,  
расставаясь с проворным  
ручейком серебра.

## XIII

Полночь в лиственном крае,  
в губернии цвета пальто.  
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза  
на рядно сопредельной державе.  
Внизу  
пашни, скирды, плато  
черепицы, кирпич, колоннада, железо,  
плюс обутий в кирзу  
человек государства.  
Ночной кислород  
наводняют помехи, молитва, сообщенья  
о погоде, известия,  
храбрый Кощей  
с округленными цифрами, гимны, фокстрот  
болеро, запрещенья  
безымянных вещей.

#### XIV

Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор,  
выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.  
Входит в «Тюльпе», садится к столу.  
Кельнер, глядя в упор,  
видит только салфетки, огни бакалеи,  
снег, такси на углу;  
просто улицу. Бьюсь об заклад,  
ты готов позавидовать. Ибо незримость  
входит в моду с годами — как тела уступка душе,  
как намек на грядущее, как маскхалат  
Рая, как затянувшийся минус.  
Ибо все в барыше  
от отсутствия, от  
бестелесности: горы и доли,  
медный маятник, сильно привыкший к часам,  
Бог, смотрящий на все это дело с высот,  
зеркала, коридоры,  
соглядатай, ты сам.

#### XV

Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он  
суть твое прибавление к воздуху мысли  
обо мне,  
суть пространство в квадрате, а не  
энергичная проповедь лучших времен.  
Не завидуй. Причисли  
привиденье к родне,  
к свойствам воздуха — так же, как мелкий петит,  
рассыпаемый в сумраке речью картавой  
вроде цокота мух,  
неспособный, поди, утолить аппетит  
новой Клио, одетой заставой,

но ласкающий слух  
обнаженной Урании.  
Только она,  
Муза точки в пространстве и Муза утраты  
очертаний, как скаред — гроши,  
в состояньи сполна  
оценить постоянство: как форму расплаты  
за движенье — души.

## XVI

Вот откуда пера,  
Томас, к буквам привязанность.  
Вот чем  
объясняться должно тяготенье, не так ли?  
Скрепя  
сердце, с хриплым «пора!»  
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,  
что скрывать — от тебя!  
от страницы, от букв,  
от — сказать ли! — любви  
звука к смыслу, бесплотности — к массе  
и свободы — прости  
и лица не криви —  
к рабству, данному в мясе,  
во плоти, на кости,  
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей  
мимо дремлющих в нише  
местных ангелов:  
выше  
их и нетопырей.

## XVII

Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых  
лишь  
в телескоп! Вычитанья  
без остатка! Нуля!  
Ты, кто горлу велишь  
избегать причитанья,  
превышения «ля»  
и советуешь сдержанность! Муза, прими  
эту арию следствия, петую в ухо причине,  
то есть песнь двойнику,  
и взгляни на нее и ее до-ре-ми  
там, в разреженном чине,  
у себя наверху  
с точки зрения воздуха.  
Воздух и есть эпилог  
для сетчатки — поскольку он необитаем.  
Он суть наше «домой»,  
восвояси вернувшийся слог.  
Сколько жаброй его ни хватаем,  
он успешно латаем  
светом взапуски с тьмой.

## XVIII

У всего есть предел:  
горизонт — у зрачка, у отчаянья — память,  
для роста —  
расширение плеч.  
Только звук отделяться способен от тел,  
вроде призрака, Томас.  
Сиротство  
звука, Томас, есть речь!  
Оттолкнув абажур,  
глядя прямо перед собою,



видишь воздух:  
анфас  
сонмы тех, кто губою  
наследил в нем  
до нас.

## ХІХ

В царстве воздуха! В равенстве слога глотку  
кислорода! В прозрачных и в сбившихся в облак  
наших выдохах! В том  
мире, где, точно сны к потолку,  
к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой  
облик,  
продиктованный ртом!  
Вот чем дышит вселенная. Вот  
что петух кукарекал,  
упреждая гортани великую сушь!  
Воздух — вещь языка.  
Небосвод —  
хор согласных и гласных молекул,  
в просторечии — душ.

## ХХ

Оттого-то он чист.  
Нет на свете вещей, безупречней  
(кроме смерти самой)  
отбеляющих лист.  
Чем белее, тем бесчеловечней.  
Муза, можно домой?  
Восвояси! В тот край,  
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи  
уст. В грамматику без  
препинания. В рай  
алфавита, трахеи.  
В твой безликий ликбез.

Над холмами Литвы  
что-то вроде мольбы за весь мир  
раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый  
звук плывет над селеньями в сторону Куршской  
косы.

То Святой Казимир  
с Чудотворным Николой  
коротают часы  
в ожидании зимней зари.

За пределами веры,  
из своей стратосферы,  
Муза, с ними приври  
на певца тех равнин, в рукотворную тьму  
погруженных по кровлю,  
на певца усмиренных пейзажей.  
Обнеси своей стражей  
дом и сердце ему.

## ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА

(4 июня 1977)

Падучая звезда, тем паче — астероид  
на резкость без труда твой праздный взгляд  
настроит.  
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

\*

Там хмурые леса стоят в своей рванине.  
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине  
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.  
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.  
Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.  
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.  
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

\*

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.  
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.  
Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.  
И к звездам до сих пор там запускают жучек  
плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.  
Жужжание пчелы там главный принцип звука.  
Там копия, щадя оригинал, безрука.

\*

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,  
и ребер больше там у пыльной батареи  
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее  
нащупывает их рукой замерзшей странник.  
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.  
Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.  
Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.  
У рыбьей чешуи в воде там цвет консервный.

\*

Там при словах «я за» течет со щек известка.  
Там в церкви образа коптит свеча из воска.  
Порой дает раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде.  
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.  
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.  
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.  
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

\*

Там, лежучи плашмя на рядовой холстине,  
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.  
Особенно — во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.  
Там города стоят, как двинутые рюхой,  
и карта мира там замещена пеструхой,

мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.  
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,  
ненужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

\*

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.  
Овацию листвы унять там вождь бессилён.  
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.  
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.  
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.  
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.  
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

\*

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»  
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.  
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.  
Когда не от руки, так на руках у друга.  
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал. Зане в театре задник  
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.  
Передних ног простор не отличит от задних.

\*

Теперь меня там нет. Означенной пропаже  
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.  
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра,— но небольшая.  
Ее затянут мох или пучки лишая,  
гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.  
Но было бы чудней изображать барана,  
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

\*

паясничать. Ну что ж! на все свои законы:  
я не любил жлобства, не целовал иконы,  
и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.  
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом  
варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.  
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:  
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

\*

и без костей язык, до внятных звуков лаком,  
судьбу благодарит кириллицыным знаком.  
На то она судьба, чтоб понимать на всяком

наречьи. Предо мной — пространство в чистом  
виде.

В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.  
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.  
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,  
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

\*

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.  
Зане не знаю я, в какую землю лягу.  
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

М. Б.

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной  
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,  
белеть а-ля Казимир на выстиранном просторе,  
темнеть — особенно вечером — в коридоре,  
спой мне песню о том, как шуршит портьера,  
как включается, чтоб оглушить полтела,  
тень, как лиловая муха, сползает с карты,  
и закат в саду за окном точно дым эскадры,  
от которой осталась одна матроска,  
позабытая в детской. И как расческа  
в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку —  
леской,  
возвышает болонку над Ковалевской  
до счастливого случая твякнуть сорок  
раз в день рожденья,— и мокрый порох  
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,  
и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978 г.



## ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северо-западный ветер его поднимает над  
сизой, лиловой, пунцовой, алой  
долиной Коннектикута. Он уже  
не видит лакомый променад  
курицы по двору обветшалой  
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный,  
одинок,  
все, что он видит — гряды покатых  
холмов и серебро реки,  
вьющейся точно живой клинок,  
сталь в зазубринах перекаатов,  
схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля  
термометры — словно лары в нише;  
стынут, обуздывая пожар  
листьев, шпили церквей. Но для  
ястреба это не церкви. Выше  
лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши  
клюв,  
с прижатою к животу плюсною  
— когти в кулак, точно пальцы рук —  
чуя каждым пером поддув  
снизу, сверкая в ответ главною  
ягодую, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу  
буков, прячущих в мощной пене  
травы, чьи лезвия остры,  
гнездо, разбитую скорлупу  
в алую крапинку, запах, тени  
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером,  
крылом,  
бьющееся с частотою дрожи,  
точно ножницами сечет,  
собственным движимое теплом,  
осеннюю синеву, ее же  
увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,  
точки, скользящей поверх вершины  
ели; за счет пустоты в лице  
ребенка, замершего у окна,  
пары, вышедшей из машины,  
женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх  
выше и выше. В подбрюшных перьях  
щиплет холодом. Глядя вниз,  
он видит, что горизонт померк,  
он видит как бы тринадцать первых  
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число  
труб подсказывает одинокой  
птице, как поднялась она.  
Эк куда меня занесло!  
Он чувствует смешанную с тревогой  
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой  
воздуха его возвращает в небо,  
в бесцветную ледяную гладь.  
В желтом зрачке возникает злой  
блеск. То есть, помесь гнева  
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,  
как паденье грешника — снова в веру,  
его выталкивает назад.  
Его, который еще горяч!  
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.  
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,  
где вместо проса — крупа далеких  
звезд. Что для двуногих высь,  
то для пернатых наоборот.  
Не мозжечком, но в мешочках легких  
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,  
клюва, похожий на визг эриний,  
вырывается и летит вонне  
механический, нестерпимый звук,  
звук стали, впившейся в алюминий;  
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:  
людских, срывающейся с березы  
белки, тьявкающей лисы,  
маленьких полевых мышей;  
так отливаться не могут слезы  
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик  
страшней, кошмарнее ре-диза  
алмаза, режущего стекло,

пересекает небо. И мир на миг  
как бы вздрагивает от пореза.  
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,  
обжигает черной оградой руку  
без перчатки. Мы, восклицая «вон,  
там!», видим вверху слезу  
ястреба, плюс паутину, звуку  
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где  
нет эха, где пахнет апофеозом  
звука, особенно в октябре.

И в кружеве этом, сродни звезде,  
сверкая, скованная морозом,  
инеем, в серебре,

опушившем перья, птица плывет в зенит,  
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда  
перл, сверкающую деталь.

Мы слышим: что-то вверху звенит,  
как разбивающаяся посуда,  
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но  
тают в ладони. И на мгновенье  
вновь различаешь кружки, глазки,  
веер, радужное пятно,  
многоточия, скобки, звенья,  
колоски, волосы —

бывший привольный узор пера,  
карту, ставшую горстью юрких  
хлопьев, летящих на склон холма.

И, ловя их пальцами, детвора  
выбегает на улицу в пестрых куртках  
и кричит по-английски: «Зима, зима!»

## В АНГЛИИ

*Диане и Алану Майерс*

### 1. БРАЙТОН-РОК

Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек.  
Меловые  
скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой  
травы и  
длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое  
море на сушу выбрасывает шум прибоя  
и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска  
лишней воды с лишней тьмой возникают, резко  
выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы  
скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы,  
летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях  
беззаботно  
вскрикивает коноплянка; линия горизонта  
с облаком напоминает веревку с выстиранной  
рубашкой,  
и танкер перебирает мачтами, как упавший  
на спину муравей. В сознании всплывает чей-то  
телефонный номер — порванная ячейка  
опустевшего невода. Бриз овеивает щеку.  
Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку,  
и отраженье полощется рядом с оцепеневшей  
лодкой.  
В середине длинной или в конце короткой  
жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради

темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади, схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, на нее, как две капли воды. Как молчанье на попугая.

## II. СЕВЕРНЫЙ КЕНСИНГТОН

Шорох «Ирландского Времени», гонимого ветром по железнодорожным путям к брошенному депо, шелест мертвой полыни, опередившей осень, серый язык воды подле кирпичных десен. Как я люблю эти звуки — звуки бесцельной, но длящейся жизни, к которым уже давно ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.

Только мышь понимает прелести пустыря — ржавого рельса, выдернутого штыря, проводов, не способных взять выше сиплого до-дизеля, поражения времени перед лицом железа. Ничего не исправить, не использовать впредь. Можно только залить асфальтом или стереть взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой бетонного стадиона с орущей массой. И появится мышь. Медленно, не спеша, выйдет на середину поля, мелкая, как душа по отношению к плоти, и, приподняв свою обезумевшую мордочку, скажет «не узнаю».

## III. СОХО

В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой, отражается матовый профиль красавицы с рваной раной говорящего рта. Партнер созерцает стены,

где узоры обоев спустя восемь лет превратились в  
«Сцены скачек в Эпсоме». — Флаги. Наездник в алом картузе рвется к финишу на полуторогодовалом жеребце. Все слилось в сплошное пятно. В ушах завывает ветер.

На трибунах творится невообразимое... — «не ответил на второе письмо, и тогда я решила...» Голос представляет собою борьбу глагола с ненаставшим временем. Молодая, худая рука перебирает локоны, струящиеся, не впадая никуда, точно воды многих рек. Оседлав деревянных четвероногих, вокруг стола с недопитым павшие смертью храбрых на чужих простынях джигитуют при канделябрах к подворотне в -ском переулке, засыпанной снегом. — Флаги жухнут. Ветер стихает; и капли влаги различимы становятся у соперника на подбородке, и трибуны теряются из виду... — В подворотне светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы, словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы ни пришел сюда первым, колокол в переулке не звонит. И подковы сивки или каурки в настоящем прошедшем, даже достигнув цели, не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.

#### IV. ИСТ ФИНЧЛИ

Вечер. Громоздкое тело тихо движется в узкой стриженной под полубокс аллее с рядами фуксий и садовой герани, точно дредноут в мелком деревенском канале. Перепачканный мелом

правый рукав пиджака, так же как самый голос,  
выдает род занятий — «Розу и гладиолус  
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,  
раз или два в неделю». И он мне приводит цифры  
из «Советов любителю-садоводу»  
и строку из Вергилия. Земля поглощает воду  
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза.

В гостиной,  
скупо обставленной, нарочито пустынной,  
жена — он женат вторым браком,— как подобает  
женам,  
раскладывает, напевая, любимый Джоном  
Голсуорси пасьянс «Паук». На стене акварель:  
в воде  
отражается вид моста неизвестно где.

Всякий живущий на острове догадывается, что  
рано  
или поздно все это кончается; что вода из-под  
крана,  
прекращая быть пресной, делается соленой,  
и нога, хрустевшая гравием и соломой,  
ощущает внезапный холод в носке ботинка.  
В музыке есть то место, когда пластинка  
начинает вращаться против движенья стрелки.  
И на камине маячит чучело перепелки,  
понадеявшейся на бесконечность леса,  
ваза с веточкой бересклета  
и открытка с видом базара где-то в Алжире —  
груды  
пестрой материи, бронзовые сосуды,  
сзади — то ли верблюды, то ли просто холмы;  
люди в тюрбанах. Не такие, как мы.

Аллегория памяти, воплощенная в твердом  
карандаше, застывшем в воздухе над кроссвордом.



Дом на пустынной улице, стелющейся покато, в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката отражается, точно в окне экспресса, уходящего в вечность, где не нужны колеса. Милая спальня (между подушек — кукла), где ей снятся ее «кошмары». Кухня; издающая запах чая гудящая хризантема газовой плитки. И очертанья тела оседают на кресло, как гуща, отделяющаяся от жижи.

Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку мелкие вещи — с розой, подобной знаку бесконечности из-за пучка восьмерок, с колесом георгина, буксующим меж распорок, как расхристанный локомотив Боччони, с танцовщицами-фуксиями и с еще не распустившейся далией. Плавающий в покое мир, где не спрашивают «что такое? что ты сказал? повтори» — потому что эхо возвращает того воробья неизменно в ухо от китайской стены; потому что ты произнес только одно: «цветы».

#### V. ТРИ РЫЦАРЯ

В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полумраке ротонды, как каменные осетры, чешуею кольчуги и жабрами лат. Все три горбоносы и узколицы, и с головы до пят рыцари: в панцире, в шлеме, с длинным мечом. И спят дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки скрещены на груди, точно две севрюги.

За щелчком аппарата следует вспышка — род выстрела (все, что нас отбрасывает вперед, на стену будущего, есть как бы выстрел). Три рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри камеры то, что уже случилось — либо при Пуатье, либо в Святой Земле: путешественник в канотье для почивших за-ради Отца и Сына и Святого Духа ужаснее сарацина.

Аббатство привольно раскинулось на берегу реки. Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки порхают у баптистерия над клумбою и т. д. Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде, природа скорей успокаивает, чем увлекает глаз; и под стеной ротонды, как перед раз навсегда опустившимся занавесом в театре, аплодисменты боярышника ты не поделишь на три.

## VI. ЙОРК

W. H. A.

Бабочки Северной Англии пляшут над лебедею под кирпичной стеной мертвой фабрики. За средою наступает четверг, и т. д. Небо пышет жаром, и поля выгорают. Города отдают лежалым полосатым сукном, георгины страдают жаждой. И твой голос — «Я знал трех великих поэтов. Каждый был большой сукин сын» — раздается в моих ушах с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг

и готов оглянуться. Скоро четыре года, как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелой перехода

ни души: черепичные кровли, асфальт, известка, тополя. Честер тоже умер — тебе известно это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных  
счетах,  
воробьи восседают на проводах. Ничто так не превращает знакомый подъезд в толчею колонн, как любовь к человеку; особенно, если он

мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться. Танец белых капустниц похож на корабль в бурю. Человек приносит с собою тупик в любую точку света; и согнутое колено размножает тупым углом перспективу плена, как журавлиный клин, когда он берет курс на Юг. Как всё движущееся вперед.

Пустота, поглощая солнечный свет на общих основаниях с боярышником, увеличивается на  
ощупь  
в направленьи вытянутой руки, и мир сливается в длинную улицу, на которой живут  
другие.  
В этом смысле он — Англия. Англия в этом  
смысле  
до сих пор Империя и в состояньи — если верить музыке, булькающей водой,— править морями. Впрочем — любой средой.

Я в последнее время немного сбиваюсь: скалюсь отраженью в стекле витрины; покамест палец набирает свой номер, рука опускает трубку. Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шляпку, замершую на воде посередине бухты. Выходя наружу из телефонной будки, слышу голос скворца, в крике его — испуг.

Но раньше, чем он взлетает, звук  
растворяется в воздухе. Чьей беспредметной сини  
и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне,  
ибо в ней тебя нет. И вакуум постепенно  
заполняет местный ландшафт. Как сухая пена,  
овцы покоятся на темно-зеленых волнах  
йоркширского вереска. Кордебалет проворных  
бабочек, повинуюсь невидимому смычку,  
мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачку  
ни на чем задержаться. И вертикальный стебель  
иван-чая длинней уходящей на Север  
древней Римской дороги, всеми забытой в Риме.  
Вычитая из меньшего большее, из человека —  
Время,  
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на  
белом  
фоне отчетливей, чем удастся телом  
это сделать при жизни, даже сказав «лови!».

Что источник любви превращает в объект любви.

## VII

Английские каменные деревни.  
Бутылка собора в окне харчевни.  
Коробы, разбредшиеся по полям.  
Памятники королям.

Человек в костюме, побитом молью,  
провожает поезд, идущий, как всё тут, к морю,  
улыбается дочке, уезжающей на Восток.  
Раздается свисток.

И бескрайнее небо над черепицей  
тем синее, чем громче птицей  
оглашаемо. И чем громче поет она,  
тем все меньше видна.

## НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН

*Л. и Н. Лифшиц*

### I

Безупречная линия горизонта, без какого-либо  
изъяна.

Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.  
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна  
с криком выскакивает из кабины натуралиста.

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил  
кто-то,  
только бутылки в баре хорошо переносят качку.  
Ветер относит в сторону окончание анекдота,  
и капитан бросается с кулаками на мачту.

Порой из кают-компания раздаются аккорды  
последней вещицы Брамса.  
Штурман играет циркулем, задумавшись над  
прямою  
линией курса. И в подзорной трубе пространство  
впереди быстро смешивается с оставшимся за  
кормою.

### II

Пассажир отличается от матроса  
шорохом шелкового белья,  
условиями питания и жилья,  
повтореньем какого-нибудь бессмысленного  
вопроса.

Матрос отличается от лейтенанта  
отсутствием эполет,  
количеством лет,  
нервами, перекрученными на манер каната.

Лейтенант отличается от капитана  
нашивками, выраженьем глаз,  
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,  
чтением «Критики чистого разума», Мопассана и  
«Капитала».

Капитан отличается от Адмиралтейства  
одинокими мыслями о себе,  
отвращением к синеве,  
воспоминаньем о длинном уик-энде, проведенном  
в именье тестя.

И только корабль не отличается от корабля.  
Переваливаясь на волнах, корабль  
выглядит одновременно как дерево и журавль,  
из-под ног у которых ушла земля.

### III

#### *Разговор в кают-компании*

«Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует  
разобраться —  
нельзя не признать за ним некоторых заслуг...»  
«Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают  
рабство.  
Какой-то порочный круг!» «Нет, спасательный  
круг!»

«Восхитительный херес!» «Я всю ночь не могла уснуть.  
Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи».  
«...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.  
Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!  
Вам случалось тонуть, лейтенант?» — «Никогда.  
Но акула меня кусала».

«Да? любопытно... Но представьте, что — течь... И представьте себе...»  
«Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-б».  
«Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао».

#### IV

#### Разговоры на палубе

«Я, профессор, тоже в молодости мечтал открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу».  
«И что же вам помешало?» «Наука мне не под силу.  
И потом — тити-мити». «Простите?» «Э-э... презренный металл».

«Человек, он есть кто?! Он — вообще — комар!»  
«А скажите, месье, в России у вас, что — тоже есть резина?»  
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!  
Не забывайте, что я...» «Простите меня, кузина».

«Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там вдали?»  
«Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон  
там». «Ах, это...  
Вроде бы, кит. Завернуть не найдется?» «Не-а,  
одна газета...  
Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увели...»

У

Море гораздо разнообразней суши.  
Интереснее, чем что-либо.  
Изнутри, как и снаружи. Рыба  
интереснее груши.

На земле существует четыре стены и крыша.  
Мы боимся волка или медведя.  
Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша».  
А если хватает воображенья — «Федя».

Ничего подобного не происходит в море.  
Кита в его первозданном, диком  
виде не трогает имя Бори.  
Лучше звать его Диком.

Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.  
Многим из них не отыскать причины;  
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,  
ни на злую волю женщины или мужчины.

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их  
жуткий  
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.  
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали «закона  
джунглей»  
либо — внесли бы в оный свои поправки.



## VI

«Капитан, в этих местах затонул «Черный Принц» при невыясненных обстоятельствах». «Штурман Бенц! Ступайте в свою каюту и хорошенько проспите». «В этих местах затонул также русский «Витязь». «Штурман Бенц! Вы думаете, что я шучу?» «При невыясненных обстоя...»

Неукоснительно двигается корвет.  
За кормою — Европа, Азия, Африка, Старый и  
Новый Свет.  
Каждый парус выглядит в профиль как знак  
вопроса.  
И пространство хранит ответ.

## VII

«Ирина!» «Я слушаю». «Взгляни-ка сюда,  
Ирина».  
«Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это  
там?» «Да где?»  
«В иллюминаторе». «Это... это, по-моему,  
субмарина».  
«Но оно извивается!» «Ну и что из того? В воде  
всё извивается». «Ирина!» «Куда ты тащишь  
меня?! Я раздета!»  
«Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай!  
Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...  
Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам!  
Николай!..»

## VIII

Море внешне безжизненно, но оно  
полно чудовищной жизни, которую не дано  
постичь, пока не пойдешь на дно.

Что порой подтверждается сетью, тралом.  
Либо — пляской волн, отражающих как бы в  
зеркале творящееся под одеялом. вялом

Находясь на поверхности, человек может быстро  
плыть.

Под водою, однако, он умеряет прыть.  
Внезапно он хочет пить.

Там, под водой, с пересохшей глоткой,  
жизнь представляется вдруг короткой.  
Под водой человек может быть лишь подводной  
лодкой.

Изо рта вырываются пузыри.  
В глазах возникает эквивалент зари.  
В ушах раздается некий бесстрастный голос,  
считающий: раз, два, три.

## IX

«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри  
гигантского осьминога.  
Чудо, но письменные принадлежности и твоя  
фотокарточка уцелели.  
Сыро и душно. Тем не менее, не одиноко:  
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.  
Главное, что темно. Когда напрягаю зренья,

различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит  
в ушах.

Постараюсь исследовать систему пищеварения.  
Это — единственный путь к свободе. Целую. Твой  
верный Жак».

«Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за  
осьминога.

Ибо мог бы просто пойти на дно, либо — попасть  
к акуле.

Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:  
о чем я их ни спрошу, слышу странное «хули-  
хули».

Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся  
туннели.

Какая-то загадочная, переплетающаяся система.  
Вероятно, я брежу, но вчера на панели  
мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо».

«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я  
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога  
как протест против общества. Раньше была семья,  
но жена и т. д. И ему ничего иного  
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.  
Осьминог (сокращенно — Ося) карает

жестокосердые  
и гордыню, воцарившиеся на земле.

Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье».

«Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра  
(с «Принца» и с «Витязя»). Дикари подавали,  
скаля

зубы. Обсуждали начатую вчера  
тему бессмертья, «Мысли» Паскаля, последнюю  
вещь в «Ля Скала».

Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон —  
осьминог.



И становится ясно, что нечего вопрошать  
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда  
синюю рябь, продолжающую улучшать  
линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк  
факты, которых, собственно, кот наплакал.  
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк  
и оседает на пол.

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.  
Вдалеке на волне покачивается какой-то  
безымянный предмет. И колокол глухо бьет  
в помещении Ллойда.

\* \* \*

Точка всегда обозримей в конце прямой.  
Веко хватает пространство, как воздух —  
жабра.  
Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой»,  
вырывается с шумом абракадабра.  
Вычитанье, начавшееся с юлы  
и т. п., подбирается к внешним данным;  
паутиной окованные углы  
придают сходство комнате с чемоданом.  
Дальше ехать некуда. Дальше не  
отличить златоуста от златоротца.  
И будильник так тикает в тишине,  
точно дом через десять минут взорвется.

*М. Б.*

То не Муза воды набирает в рот.  
То, должно, крепкий сон молодца берет.  
И махнувшая вслед голубым платком  
наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам,  
как назад в осиновый строй дровам.  
И глазами по наволочке лицо  
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести  
одеял в том садке, где — Господь прости —  
точно рыба — воздух, сырой губой  
я хватал, что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу,  
наглотался б в лесах за тебя свинцу,  
но и в черном пруду из дурных коряг  
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Но, видать, не судьба, и года не те.  
И уже седина стыдно молвить — где.  
Больше длинных жил, чем для них кровей,  
да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.  
Нарисуй на бумаге простой кружок.  
Это буду я: ничего внутри.  
Посмотри на него, и потом сотри.

1980

## САН-ПЬЕТРО

### I

Третью неделю туман не слезает с белой колокольни коричневого, захолустного городка, затерявшегося в глухоманном углу Северной Адриатики. Электричество продолжает в полдень гореть в таверне. Плитняк мостовой отливает желтой жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили пропадают из виду, не заводя мотора. И вывеску не дочитать до конца. Уже не терракота и охра впитывают в себя сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.

Тень, насыщающаяся от света, радуется при виде снимаемого с гвоздя пальто совершенно по-христиански. Ставни широко растопырены, точно крылья погрузившихся с головой в чужие неурядицы ангелов. Там и сям слезающая струпьями штукатурка обнажает красную, воспаленную кладку, и третью неделю сохнувшие исподники настолько привыкли к дневному свету и к своей веревке, что человек если выходит на улицу, то выходит в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.



В два часа пополудни силуэт почтальона  
приобретает в подъезде резкие очертанья,  
чтоб, мгновенье спустя, снова сделаться  
силуэтом.

Удары колокола в тумане  
повторяют эту же процедуру.  
В итоге невольно оглядываешься через плечо  
самому себе вслед, как иной прохожий,  
стремясь рассмотреть получше щиколотки  
прошелестевшей  
мимо красавицы, но — ничего не видишь,  
кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина.  
Направленье потеряно. За поворотом  
фонари обрываются, как белое многоточье,  
за которым следует только запах  
водорослей и очертанья пирса.  
Безветрие; и тишина как ржанье  
никогда не сбивающейся с пути  
чугунной кобылы Виктора-Эммануила.

## II

Зимой обычно смеркается слишком рано;  
где-то вовне, снаружи, над головою.  
Туго спеленутые клочковатой  
марлей стрелки на городских часах  
отстают от меркнувшего вдалеке  
рассеянного дневного света.  
За сигаретами вышедший постоялец  
возвращается через десять минут к себе  
по пробуравленному в тумане  
его же туловищем туннелю.  
Ровный гул невидимого аэроплана  
напоминает жужжание пылесоса  
в дальнем конце гостиничного коридора

и поглощает, стихая, свет.  
«Неббия» \*, — произносит, зевая, диктор,  
и глаза на секунду слипаются, наподобье  
раковины, когда проплывает рыба  
(зрачок погружается ненадолго  
в свои перламутровые потемки);  
и подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,  
поглощенный чтением под одеялом;  
одеяло все в складках, как тога Евангелиста  
в нише. Настоящее, наше время  
со стуком отскакивает от бурого кирпича  
грузной базилики, точно белый  
кожаный мяч, вколачиваемый в нее  
школьниками после школы.

Щербатые, но не мыслящие себя  
в профиль, обшарпанные фасады.  
Только голые икры кривых балясин  
одушевляют наглухо запертые балконы,  
где вот уже двести лет никто  
не появляется: ни наследница, ни кормилица.  
Облюбованные брачующимися и просто  
скучающими чудищами карнизы.  
Колоннада, оплывшая, как стеарин.  
И слепое, агатовое великолепье  
непроницаемого стекла,  
за которым скрываются кушетка и пианино:  
старые, но именно светом дня  
оберегаемые успешно тайны.

В холодное время года нормальный звук  
предпочитает тепло гортани капризам эха.  
Рыба безмолвствует; в недрах материка

---

\* Туман (ит.).

распевает горлинка. Но ни той, ни другой не слышно.

Повисший над пресным каналом мост удерживает расплывчатый противоположный берег

от попытки совсем отделиться и выйти в море.

Так, дохнув на стекло, выводят инициалы тех, с чьим отсутствием не смириться; и подтек превращает заветный вензель в хвост морского конька. Вбирай же красной губкою легких плотный молочный пар, выдыхаемый всплывшею Амфитритой и ее nereидами! Протяни руку — и кончики пальцев коснутся торса, покрытого мелкими пузырьками и пахнущего, как в детстве, йодом.

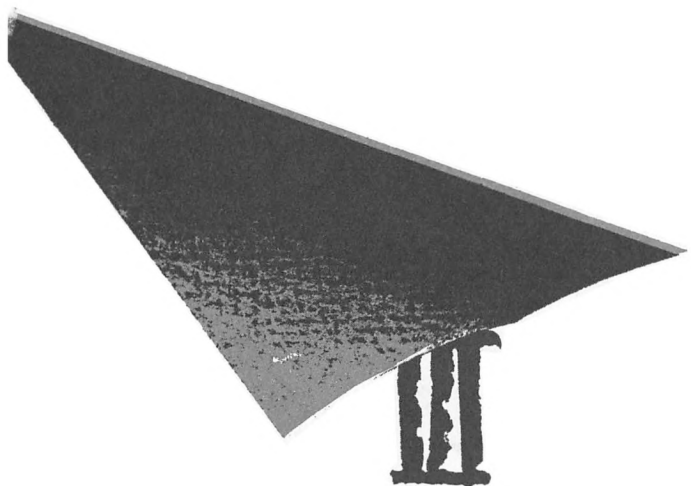
### III

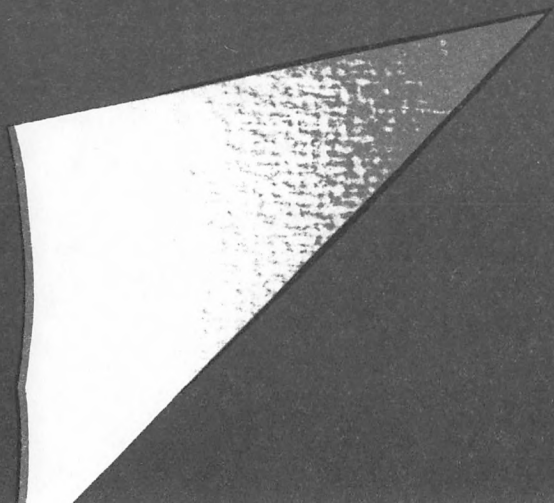
Выстиранная, выглаженная простыня залива шуршит оборками, и бесцветный воздух на миг сгущается в голубя или в чайку, но тотчас растворяется. Вытащенные из воды лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки, как непарная обувь, разбросаны на песке, поскрипывающем под подошвой. Помни: любое движенье, по сути, есть перенесение тяжести тела в другое место. Помни, что прошлому не уложиться без остатка в памяти, что ему необходимо будущее. Твердо помни: только вода, и она одна, всегда и везде остается верной себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,

находящейся там, где сухой земли  
больше нет. И патетика жизни с ее началом,  
серединой, редеющим календарем, концом  
и т. д. стушевывается в виду  
вечной, мелкой, бесцветной ряби.

Жесткая, мертвая проволока виноградной  
лозы мелко вздрагивает от собственного  
напряженья.

Деревья в черном саду ничем  
не отличаются от ограды, выглядящей  
как человек, которому больше не в чем  
и — главное — некому признаваться.  
Смеркается; безветрие, тишина.  
Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого  
тростника. Пинаемая носком  
жестянка взлетает в воздух и пропадает  
из виду. Даже спустя минуту  
не расслышать звука ее паденья  
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.





\* \* \*

Я входил вместо дикого зверя в клетку,  
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,  
жил у моря, играл в рулетку,  
обедал черт знает с кем во фраке.  
С высоты ледника я озираю полмира,  
трижды тонул, дважды бывал распорот.  
Бросил страну, что меня вскормила.  
Из забывших меня можно составить город.  
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,  
надевал на себя что сызнава входит в моду,  
сеял рожь, покрывал черной толью гумна  
и не пил только сухую воду.  
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,  
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.  
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;  
перешел на шепот. Теперь мне сорок.  
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.  
Только с горем я чувствую солидарность.  
Но пока мне рот не забили глиной,  
из него раздаваться будет лишь благодарность.

*24 мая 1980 г.*

Вечер. Развалины геометрии.  
Точка, оставшаяся от угла.  
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.  
Так раздеваются догола.

Но — останавливаются. И заросли  
скрывают дальнейшее, как печать  
содержанье послания. А казалось бы —  
с лавии и начать...

Луна, изваянная в Монголии,  
прижимает к бесчувственному стеклу  
прыщавую, лезвиями магнолии  
гладко выбритую скулу.

Как войску, пригодному больше к булочным  
очередям, чем кричать «ура»,  
настоящему, чтоб обернуться будущим,  
требуется вчера.

Это — комплекс статуи, слиться с теменью  
согласной, внутренности скрепя.  
Человек отличается только степенью  
отчаянья от самого себя.



\* \* \*

Как давно я топчу, видно по каблуку.  
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.  
То и приятно в громком кукареку,  
что звучит как вчера.  
Но и черной мысли толком не закрепить,  
как на лоб упавшую косо прядь.  
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,  
реже сбываться, не засорять  
времени. Нищий квартал в окне  
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,  
в лицо запомнить жильца, а не,  
как тот считает, наоборот.  
И по комнате, точно шаман, кружа,  
я наматываю, как клубок,  
на себя пустоту ее, чтоб душа  
знала что-то, что знает Бог.

## РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

*Бенедетте Кравиери*

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.  
Под потолком — пыльный хрустальный остров.  
Жалюзи в час заката подобны рыбе,  
перепутавшей чешую и остов.  
Ставя босую ногу на красный мрамор,  
тело делает шаг в будущее — одеться.  
Крикни сейчас «замри» — я бы тотчас замер,  
как этот город сделал от счастья в детстве.  
Мир состоит из наготы и складок.  
В этих последних больше любви, чем в лицах.  
Так и тенор в опере тем и сладок,  
что исчезает навек в кулисах.  
На ночь глядя, синий зрачок полощет  
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.  
И луна в головах, точно пустая площадь:  
без фонтана. Но из того же камня.

Месяц замерших маятников (в августе расторопна  
только муха в гортани высохшего графина).  
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно  
прожекторам ПВО в поисках серафима.  
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,  
потного двойника в зеркале над комодом,  
пчел, позабывших расположение ульев  
и улетевших к морю покрыться медом.  
Хлопчи же, струя, над белоснежной, дряблой  
мышцей, играй куделью седых подпалин.  
Для бездомного торса и праздных граблей  
ничего нет ближе, чем вид развалин.  
Да и они в ломаном «р» еврея  
узнают себя тоже; только слюнным раствором  
и скрепляешь осколки, покамест Время  
варварским взглядом обводит форум.

III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.  
Облака вроде ангелов—в силу летучей тени.  
Так счастливый булыжник грешит с голубым  
исподним  
длинноногой подруги. Я, певец дребедени,  
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь  
в недрах вечного города от светила,  
навязавшего цезарям их незрячесть  
(этих лучей за глаза б хватило  
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь  
полдня. Владелец «веспы» мучает передачу.  
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль  
считаю с прожитой жизни сдачу.  
И как книга, раскрытая сразу на всех страницах,  
лавр шелестит на выжженной балюстраде.  
И Колизей—точно череп Аргуса, в чьих глазницах  
облака проплывают, как память о бывшем стаде.

#### IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа  
той из них, что прекрасней. Два молодых овала  
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза  
объясняет Судьбе то, что надиктовала.

Шорох старой бумаги, красного крепдешина,  
воздух пропитан лавандой и цикламеном.

Перемена прически; и локоть — на миг —

вершина,

привыкшая к ветреным переменам.

О, коричневый глаз впитывает без усилий  
мебель того же цвета, шторы, плоды граната.

Он и зорче, он и нежней, чем синий.

Но синему — ничего не надо!

Синий всегда готов отличить владельца  
от товаров, брошенных вперемешку

(т. е. время — от жизни), дабы в него взглядеться.

Так орел стремится взглядеться в решку.

V

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.  
Тишина уснувшего переулка  
обрастает бемолью, как чешуюю рыба,  
и коричневая штукатурка  
дышит, хлопая жаброй, прелым  
воздухом августа, и в горячей  
полости горла холодным перлом  
перекатывается Гораций.  
Я не воздвиг уходящей к тучам  
каменной вещи для их остратки.  
О своем — и о любом — грядущем  
я узнал у буквы, у черной краски.  
Так задремывают в обнимку  
с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе  
сны, себя опознать по снимку,  
очнувшись в более длинной жизни.

## VI

Обними чистый воздух, а-ля ветви местных пиний:  
в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.  
Но и птичка из туч вниз не вернется синей,  
да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.  
Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,  
выси и проч. брезгают гладью кожи.  
Тело обратно пространству, как ни крути педали.  
И несчастны мы, видимо, оттого же.  
Привались лучше к портику, скинь бахилы,  
сквозь рубашку стена холодит предплечье;  
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,  
как вода, наставница красноречья,  
льется из ржавых скважин, не повторяя  
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,  
кроме того, что она — сырая  
и превращает лицо в руину.

## VII

В этих узких улицах, где громоздка  
даже мысль о себе, в этом клубке извилин  
прекратившего думать о мире мозга,  
где то взвинчен, то обессилен,  
переставляешь на площадях ботинки  
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви  
— так иголка шаркает по пластинке,  
забывая остановиться в центре,—  
можно смириться с невзрачной дробью  
остающейся жизни, с влечением прошлой  
жизни к законченности, к подобью  
целого. Звук, из земли подошвой  
извлекаемый,— ария их союза,  
серенада,— которую время оно  
напевает грядущему. Это и есть Карузо  
для собаки, сбежавшей от граммофона.



## VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,  
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,  
следуй — не приближаясь! — за вереницей  
литер, стоящих в очередях за смыслом.  
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише  
— большую площадь, чем покрывает почерк!  
Да и копоть твоя воспаряет выше  
помыслов автора этих строчек.  
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;  
вечным пером, в память твоих subtilных  
запятых, на исходе тысячелетья, в Риме  
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,  
а не точку — и комната выглядит как в начале.  
(Сочиняя, перо мало что сочинило.)  
О, сколько света дают ночами  
сливающимися с темнотой чернила!

## IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.  
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.  
Ястреб над головой как квадратный корень  
из бездонного, как до молитвы, неба.  
Свет пожинает больше, чем он посеял:  
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.  
В этих широтах все окна глядят на Север,  
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.  
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,  
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,  
не способная взгляда остановить равнина,  
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.  
Больше туда не выдвигать кордона.  
Только буквы в когорты строит перо на Юге.  
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,  
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

## Х

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.  
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.  
С помощью мятой куртки и голубой рубахи  
что-то еще отражается в зеркале гардероба.  
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.  
Воздух обложен комнатой, как оброком.  
Сойки, вспорхнув, покидают купы  
пиний — от брошенного ненароком  
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;  
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.  
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо  
тут она безупречна. Так на льду Танаиса  
пропадая из виду, дрожа всем телом,  
высохшим лавром прикрывши темя,  
бредут в лежащее за пределом  
всякой великой державы время.

## XI

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.  
Бюст, причинное место, бёдра, колечки ворса.  
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —  
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.  
Вы — источник бессмертья: знавшие вас нагими  
сами стали катуллом, статуями, траяном,  
августом и другими. Временные богини!  
Вам приятнее верить, нежели постоянным.  
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!  
Белый на белом, как мечта казимира,  
летним вечером я, самый смертный прохожий  
среди развалин, торчащих как ребра мира,  
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;  
небо бледней щеки с золотистой мушкой.  
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,  
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

## XII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я благодарен за все; за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже кроющих мне пустоту, раз она — Твоя. Ничего, что черна. Ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она — везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме. Был залит светом. Так, как только может мечтать обломок! На сетчатке моей — золотой пятак. Хватит на всю длину потемок.

## ПРИЛИВ

### I

В северной части мира я отыскал приют,  
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,  
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют  
с криком поверхность рябых зеркал.

Здесь не прийти в себя, хоть запишись на ключ.  
В доме — шаром покати, и в станке — кондей.  
Окно с утра занавешено рванью туч.  
Мало земли, и не видать людей.

В этих широтах панует вода. Никто  
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть:  
«вон!»

Горизонт себя выворачивает, как пальто,  
наизнанку с помощью рыхлых волн.

И себя отличить не в силах от снятых брюк,  
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез  
либо лампа темнит — трогаешь ихний крюк,  
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».

### II

В северной части мира я отыскал приют,  
между сырым аквилонном и кирпичом,  
здесь, где подковы волн, пока их куют,  
обрастают гривой и ни на чем

не задерживаются, точно мозг, топя  
в завитках перманента набрякший перл.  
Тот, кто привел их в движение, на себя  
приучить оглядываться не успел!

Здесь кривится губа, и не стоит базлать  
про квадратные вещи, ни про свои черты,  
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,  
чем прилипший к нему человек, чем ты.

И холодный порыв затолкает обратно в пасть  
лай собаки, не то, что твои слова.  
При отсутствии эха, вещь, чтоб ее украсть,  
увеличить приходится раза в два.

### III

В ветреной части мира я отыскал приют.  
Для нее я — присохший ком, но она мне — щит.  
Здесь меня найдут, если за мной придут,  
потому что плотная ткань завсегда морщит.

В этих широтах цвета дурных дрожжей,  
карту избавив от пограничных дрызг,  
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,  
расстилается, издавая лязг.

И, один приглашенный на этот бескрайний пир,  
я о нем отзовусь, кості не в пример, тепло,  
потому что, как ни считай, я из чаши пил  
больше, чем по лицу текло.

Не людей от живых хорошо отличать в длину.  
Но покуда Борей забираться в скулу горазд  
и пока толковище в разгаре, пока волну  
давит волна, никто тебя не продаст.

#### IV

В северной части мира я водрузил кирпич!  
Знай, что душа со временем пополам  
может все повторить, как попугай, опричь  
непрерывности, свойственной местным сырым  
делам!

Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»  
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.  
Плюс пустые дома стоят как давным-давно  
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.  
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,  
убирайся назад, и за постой берут  
выцветаньем зрачка, ржавую чешуей.

И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,  
как монах либо мусор, обутый в жесть,  
и громоздкая письменность с ревом идет на слом,  
никому не давая себя прочесть.

#### V

Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».  
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.  
Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,  
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»

Все равно, на какую букву себя послать,  
человека всегда настигает его же храп,  
и, в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,  
шевелиясь, разбираешь, как донный краб.



Вот про что напевал, пряча плавник, лихой  
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,  
заливая глаза на камнях ледяной ухой,  
чтобы ты наострился слагать из костей И. Х.

Так впадает — куда, стыдно сказать — клешня.  
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.  
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,  
чтоб по волнам ступать, не держась перил.

## ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ

### I

«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон, убаюканный ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невеселые, нечетные годовщины.

Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.

Небо тоже исколото шпильями, как лопатки и затылок больного (которого только спину мы и видим). И я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.

Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса».

### II

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно

тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «о».  
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли —  
тысяча означает, что ты сейчас вдали  
от родимого крова, и зараза бессмысленности  
со слова  
перекидывается на цифры; особенно на нули.

Ветер несет на Запад, как желтые семена  
из лопнувшего стручка,— туда, где стоит Стена.  
На фоне ее человек уродлив и страшен, как  
иероглиф;  
как любые другие неразборчивые письма.  
Движение в одну сторону превращает меня  
в нечто вытянутое, как голова коня.  
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени  
о сухие колосья дикого ячменя».

## СТИХИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1980-го ГОДА

В полдневный жар в долине Дагестана...

*М. Ю. Лермонтов*

I

Скорость пули при низкой температуре  
сильно зависит от свойств мишени,  
от стремленья согреться в мускулатуре  
торса, в сложных переплетеньях шеи.  
Камни лежат, как второе войско.  
Тень вжимается в суглинок поневоле.  
Небо — как осыпающаяся известка.  
Самолет растворяется в нем наподобье моли.  
И пружиной из вспоротого матраса  
поднимается взрыв. Брезгающая воронкой,  
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться  
в грунт, покрывается твердой пленкой.

II

Север, пастух и сеятель, гонит стадо  
к морю, на Юг, распространяя холод.  
Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.  
Механический слон, задирая хобот  
в ужасе перед черной мышью  
мины в снегу, изрыгает к горлу  
подступивший комок, одержимый мыслью,  
как Магомет, сдвинуть с места гору.

Снег лежит на вершинах; небесная кладовая  
отпускает им в полдень сухой избыток.  
Горы не двигаются, передавая  
свою неподвижность телам убитых.

### III

Заунывное пение славянина  
вечером в Азии. Мерзнущая, сырая  
человеческая свинина  
лежит на полу караван-сарая.  
Тлеет кизяк, ноги окоченели;  
пахнет тряпьем, позабытой баней.  
Сны одинаковы, как шинели.  
Больше патронов, нежели воспоминаний,  
и во рту от многих «ура» осадок.  
Слава тем, кто, не поднимая взора,  
шли в абортарий в шестидесятых,  
спасая отечество от позора!

### IV

В чем содержанье жужжанья трутня?  
В чем — летательного аппарата?  
Жить становится так же трудно,  
как строить домик из винограда  
или — карточные ансамбли.  
Все неустойчиво (раз — и сдуло):  
семьи, частные мысли, сакли.  
Над развалинами аула  
ночь. Ходя под себя мазутом,  
стынет железо. Луна от страха  
потонуть в сапоге разутом  
прячется в тучу, точно в чалму Аллаха.

## V

Праздний, никем не вдыхаемый больше воздух.  
 Ввезенная, сваленная как попало  
 тишина. Растущая, как опара,  
 пустота. Существовай на звездах  
 жизнь, раздались бы аплодисменты,  
 к рампе бы выбежал артиллерист, мигая.  
 Убийство — наивная форма смерти,  
 тавтология, ария попугая,  
 дело рук, как правило, цепкой бровью  
 муху жизни ловящей в своих прицелах  
 молодежи, знакомой с кровью  
 понаслышке или по ломке целок.

## VI

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса  
 ямку, заляг и слушай «уу» сирены.  
 Новое оледененье — оледененье рабства  
 наползает на глобус. Его морены  
 подминают державы, воспоминанья, блузки.  
 Бормоча, выкатывая орбиты,  
 мы превращаемся в будущие моллюски,  
 бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.  
 Дует из коридора, скважин, квадратных окон.  
 Поверни выключатель, свернись в калачик.  
 Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.  
 Утром уже не встать с карачек.

## VII

В стратосфере, всеми забыта, сучка  
 лает, глядя в иллюминатор.  
 «Шарик! Шарик! Прием. Я — Жучка».

Шарик внизу, и на нем экватор.  
Как ошейник. Склоны, поля, овраги  
повторяют своей белизною скулы.  
Краска стыда вся ушла на флаги.  
И в занесенной подклети куры  
тоже, вздрагивая от побудки,  
кладут непорочного цвета яйца.  
Если что-то чернеет, то только буквы.  
Как следы уцелевшего чудом зайца.

1980

## ГОРЕНИЕ

М. Б.

Зимний вечер. Дрова,  
охваченные огнем,—  
как женская голова  
ветреным ясным днем.

Как золотится прядь,  
слепотою грозя!  
С лица ее не убрать.  
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,  
гребнем не разделить:  
может открыться взор,  
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.  
На языке огня  
раздается «не тронь»  
и вспыхивает «меня!».

От этого — горячо.  
Я слышу сквозь хруст в кости  
захлебывающееся «еще!»  
и бешеное «пусти!».



Пылай, пылай предо мной,  
рваное, как блатной,  
как безумный портной,  
пламя еще одной

зимы! Я узнаю  
патлы твои. Твою  
завивку. В конце концов —  
раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была  
прежде. Тебе не впрок  
раздевшийся догола,  
скинувший все швырок.

Только одной тебе  
свойственно, вещь губя,  
приравниванье к судьбе  
сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,  
взвивающееся вовне,  
наряженное пестро,  
мы снова наедине!

Это — твой жар, твой пыл!  
Не отпирайся! Я  
твой почерк не позабыл,  
обугленные края.

Как ни скрывай черты,  
но предаст тебя суть,  
ибо никто, как ты,  
не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,  
метнуться наперерез.  
Назорею б та страсть,  
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,  
захлебывайся собой.  
Как менада пляши  
с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси  
вволю плечом худым.  
Тот, кто вверху еси,  
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,  
обнажая места.  
То промелькнет щека,  
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,  
так из развалин икр  
прядают, небеса  
вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.  
От судьбы, от жилья  
после тебя — зола,  
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,  
пляска замерзших розг.  
И как сплошной ожог —  
не удержавший мозг.

М. Б.

Я был только тем, чего  
ты касалась ладонью,  
над чем в глухую, воробью  
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты  
там, внизу, различала:  
смутный облик сначала,  
много позже — черты.

Это ты, горяча,  
ошую, одесную  
раковину ушную  
мне творила, шепча.

Это ты, теребя  
штору, в сырую полость  
рта вложила мне голос,  
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.  
Ты, возникая, прячась,  
даровала мне зрячесть.  
Так оставляют след.

Так творятся миры.  
Так, сотворив, их часто  
оставляют вращаться,  
расточая дары.

Так, бросаем то в жар,  
то в холод, то в свет, то в темень,  
в мирозданьи потерян,  
кружится шар.

*1981*

## ЭКЛОГА 4-я (ЗИМНЯЯ)

Ultima Cumaei Venti iam carminis  
aetas; magnus ab integro saeculorum  
nascitur ordo...

Virgil. Eclogue, IV \*

*Дереку Уолкотту*

### I

Зимой смеркается сразу после обеда.  
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.  
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.  
Сухая, сгущенная форма света —  
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,  
на бессонницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка  
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым  
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами  
оставляют следы. Ночь входит в город, будто  
в детскую: застает ребенка под одеялом;  
и перо скрипит, как чужие сани.

### II

Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги  
обострившийся слух различает невольно тему  
оледенения. Всякое «во-саду-ли»  
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».

---

\* Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,  
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый...

(Вергилий. Эклога, IV. Перев. С. Шервинского)

Сильный мороз суть откровенье телу  
о его грядущей температуре

либо — вздох Земли о ее богатом  
галактическом прошлом, о злом морозе.  
Даже здесь щека пунцовеет, как редиска.  
Космос всегда отливает слепым агатом,  
и вернувшееся восвоися «морзе»  
попискивает, не застав радиста.

### III

В феврале лиловеют заросли краснотала.  
Неизбежная в профиле снежной бабы  
дорожает морковь. Ограниченный бровью,  
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,  
лютей самого металла — дабы  
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли  
озирал свой труд в день восьмой и после  
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,  
затыкают щели кусками пакли,  
охотней мечтают об общей пользе,  
и вещи становятся старше на год.

### IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.  
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.  
Реже снятся дома, где уже не примут.  
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,  
точных примет с лихвой хватило бы на вторую  
жизнь. Из одних примет можно составить климат

либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,  
с девственной белизной за пеленою кружев,  
— мир, не слышавший о лондонах и парижках,  
мир, где рассеянный свет — генератор будней,  
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,  
что и тут кто-то прошел на лыжах.

## V

Время есть холод. Всякое тело, рано  
или поздно, становится пищею телескопа:  
остывает с годами, удаляется от светила.  
Стекло зацветает сложным узором: рама  
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа  
и всего, что взрастило

одинокчество. Но, как у бюста в нише,  
глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.  
Там, где роятся сны, за пределом зренья,  
время, упавшее сильно ниже  
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик  
шалуна из русского стихотворенья.

## VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,  
время — на время. Единственная преграда —  
теплое тело. Упрямое как ослица,  
стоит оно между ними, поднявши ворот,  
как пограничник держась приклада,  
грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимой на самом деле вторник он же суббота. Днем легко ошибиться: свет уже выключили или еще не включили? Газеты могут печататься раз в неделю. Время глядится в зеркало, как певица, позабывшая, что это — «Тоска» или «Лючия».

## VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.  
Ход конем лоскутное одеяло  
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.  
Чем больше лютует пурга над кровлей,  
тем жарче требует идеала  
голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек  
в тесном ущелье, мушиный куколь  
между стеной и торцом буфета:  
праздник кончиков пальцев в плену бретелек.  
А потом все стихает. Только горячий уголь  
тлеет в серой золе рассвета.

## VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,  
он берет урочища, веси, грады.  
Населенье сдается, не сняв треуха.  
Города — особенно, чьи ансамбли,  
чьи пилястры и колоннады  
стоят как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба  
на парашюте. Всяческая колонна  
выглядит пятой, жаждет переворота.



Только ворона не принимает снега,  
и вы слышите, как кричит ворона  
картавым голосом патриота.

## IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.  
Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды  
как разбитый термометр: каждый квадратный метр  
ночи ими усеян, как при салюте.  
Днем, когда небо под стать известке,  
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы  
ангелы. Холод приносит пользу  
ихнему воинству: их, крылатых,  
мы обнаружили бы, воззри мы  
вправду горé, где они как по льду  
скользят белофиннами в маскхалатах.

## X

Я не способен к жизни в других широтах.  
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.  
Слава голой березе, колючей ели,  
лампочке желтой в пустых воротах,  
— слава всему, что приводит в движенье ветер!  
В зрелом возрасте это — вариант колыбели,

Север — честная вещь. Ибо одно и то же  
он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный  
голос  
в затянувшейся жизни — разными голосами.  
Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,  
напоминая забравшемуся на полюс  
о любви, о стоянии под часами.

## XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.  
В космосе самый глубокий выдох  
не гарантирует вдоха, уход — возврата.  
Время есть мясо немой Вселенной.  
Там ничего не тикает. Даже выпав  
из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,  
ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.  
Вас убивает на внеземной орбите  
отнюдь не отсутствие кислорода,  
но избыток Времени в чистом, то есть —  
без примеси вашей жизни виде.

## XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы  
к чаю, блюда с дольками мандарина,  
твой миндаль с арахисом, граммов двести.  
Ты раскрываешь цыплячьи клювы  
именами «Ольга» или «Марина»,  
произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба  
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —  
точно «чижика» где подбирает рука Господня.  
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого  
города, мерзнущего у моря,  
меня согревают еще сегодня.

### XIII

В определенном возрасте время года совпадает с судьбой. Их роман недолог, но в такие дни вы чувствуете: вы правы. В эту пору не важно, что вам чего-то не досталось; и рядовой фенолог может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстаёт от жеста. Треугольник больше не пылкая теорема: все углы затянула плотная паутина, пыль. В разговорах о смерти место играет все большую роль, чем время, и слюна, как полтина,

### XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже скованы льдом; можно надеть рейтузы, прикрутить к ботинку железный полоз. Зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха. И голос Музы звучит как сдержанный, частный голос.

Так рождается эклога. Взамен светила загорается лампа: кириллица, грешным делом, разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, знает больше, чем та сивилла, о грядущем. О том, как чернеть на белом, покуда белое есть, и после.

## ЭКЛОГА 5-я (ЛЕТНЯЯ)

*Марго Пикен*

I

Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!  
Потные муравьи спят в тени курслепа.  
Муха сползает с пыльного эполета  
лопуха, разжалованного в рядовые.  
Выражение «ниже травы» впервые  
означает гусениц. Буровые

вышки разросшегося кипрея  
в джунглях бурьяна, вьюнка, пырея  
синеватые от близости эмпирея.  
Салют бесцветного болиголова  
сотрясаем грабками пожилого  
богомолы. Темно-лилова,

сердцевина репейника напоминает мину,  
взорвавшуюся как бы наполовину.  
Дягиль тянется, точно рука к графину.  
И паук, как рыбачка, латает крепкой  
ниткой свой невод, распятый терпкой  
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь — сумма мелких движений.

Сумрак

в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,  
меняющийся каждый миг рисунок  
конского щавеля, дрожь люцерны,  
чабреца, тимофеевки — драгоценны  
для понимания законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел  
в полдень отбрасывают на север  
общую тень, ибо их посеял  
тот же ветренный сеятель, кривотолки  
о котором и по сей день не смолкли.  
Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки! что лепечет  
ромашки отрывистый чет и нечет!  
как мать-и-мачеха им перечит,  
как болтает, точно на грани бреда,  
прямая лебедою Леда  
нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,  
пирамиды крапивы, жара и одурь.  
Пагоды папоротника. Поодаль —  
анис как рухнувшая колонна,  
минарет шалфея в момент наклона —  
травяная копия Вавилона,

зеленая версия Третьеримска!  
где вправо сворачиваешь не без риска  
вынырнуть слева: все далеко и близко.  
И кузнечик в погоне за балериной  
капустницы, как герой былинный,  
замирает перед сухой былинкой.

## II

Воздух, бесцветный вдали, в пейзаже  
выглядит синим. Порою — даже  
темно-синим. Возможно, та же  
вещь случается с зеленью: удаленность  
взора от злака и есть зеленость  
оного злака. В июле склонность

флоры к разрыву с натуралистом,  
дав потемнеть и набрякнуть листьям,  
передается с загаром лицам.  
Сумма красивых и некрасивых,  
удаляясь и приближаясь, в силах  
глаз измучить почище синих

и зеленых пространств. Окраска  
вещи на самом деле маска  
бесконечности, жадной к деталям. Масса,  
увы, не кратное от деленья  
энергии на скорость зренья  
в квадрате, но ощущение тренья

о себе подобных. Вглядись в пространство!  
в его одинаковое убранство  
поблизости и вдалеке! в упрямство,  
с каким, независимо от размера,  
зелень и голубая сфера  
сохраняют колер. Это — почти что вера,

род фанатизма! Жужжанье мухи,  
увязшей в липучке,— не голос муки,  
но попытка автопортрета в звуке  
«ж». Подобие алфавита,  
тепло есть знак размноженья вида  
за горизонт. И пейзаж — лишь свита

убежавших в Азию, к стройным пальмам,  
особей. Верное ставням, спальням,  
утро в июле мусолит пальцем  
пачки жасминовых ассигнаций,  
лопаются стручки акаций,  
и воздух прозрачнее комбинаций

спящей красавицы. Душный июль!

Избыток

зелени и синевы — избитых  
форм бытия. И в глазных орбитах —  
остановившееся, как Аттила  
перед мятым щитом, светило:  
дальше попросту не хватило

означенной голубой кудели  
воздуха. В одушевленном теле  
свет узнает о своем пределе  
и преломляется, как в итоге  
длинной дороги, о чьем истоке  
лучше не думать. В конце дороги —

III

бабочки, мальвы, благоуханье сена,  
река вроде Оредежи или Сейма,  
расположившиеся подле семьи  
дачников, розовые наяды,  
их рискованные наряды,  
плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,  
скрывающий белизну опальных  
мест у скидывающих купальник  
в зарослях; запах хвои, обрывы  
цвета охры; жара, наплывы  
облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О водоемы лета! Чаше  
всего блестящие где-то в чаше  
пруды или озёра — части  
воды, окруженные сушей; шелест  
осоки и камышей, замшелость  
коряги, нежная ряска, прелесть

желтых кувшинок, бесстрастность лилий,  
водоросли — или рай для линий —  
и шастающий, как Христос, по синей  
глади жук-плавунец. И порою окунь  
всплеснет, дабы окинуть оком  
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.  
Лето! пора рубах навывпуск,  
разговоров про ядовитость  
грибов, о поганках, о белых пятнах  
мухоморов, полемики об опятах  
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,  
где в полдень истома глаза смежает,  
где пчела, если вдруг ужалит,  
то приняв вас сослепу за махровый  
мак или за вещь, коровой  
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.  
Лес — как ломаная расческа.  
И внезапная мысль о себе подростка:  
«выше кустарника, ниже ели»  
оглушает его на всю жизнь. И еле  
видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки  
к экзаменам, формул, орла и решки;  
прыщи, бубоны одних, задержки  
других — от страха, что не осилишь;  
силуэты техникумов, училищ  
даже во сне. Лишь хлысты удилищ



с присвистом прочь отгоняют беды.  
В образовавшиеся просветы  
видны сандалии, велосипеды  
в траве; никелированные педали  
как петлицы кителей, как медали.  
В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века,  
европы, железных дорог — чья ветка  
и впрямь как от порыва ветра  
дает зеленые полустанки —  
лес, водокачка, лицо крестьянки,  
изгородь — и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево  
вырытые рядом со стенкой хлева  
червяки. А потом — телега  
с наваленными на нее кулями  
и бегущий убранными полями  
проселок. И где-то на дальнем плане

церковь — графином, суслоны, хаты,  
крытые шифером с толью скаты  
и стёкла, ради чьих рам закаты  
и существуют. И тень от спины,  
удлиняясь до польской почти границы,  
бежит вдоль обочины за матерком возницы,

как лохматая Жучка, она же Динка;  
и ты глядишь на носок ботинка,  
в зубах травинка, в мозгу блондинка  
с каменной дачи — и в верхотуре  
только журавль, а не вестник бури.  
Слава нормальной температуре! —

на десять градусов ниже тела.  
Слава всему, до чего есть дело.  
Всему, что еще вам не надоело!  
Рубашке, болтающейся, подсохнув,  
панаме, выглядящей как подсолнух,  
вальсу издалека «На сопках».

#### IV

Развевающиеся занавески летних  
сумерек! крынками полный ледник,  
сталин или хрущев последних  
тонущих в треске цикад известий,  
варенье, сделанное из местной  
брусники. Обмазанные известкой,

щиколотки яблоневого аллеи  
чем темнее становится, тем блее;  
а дальше высятся бармалеи  
настоящих деревьев в сгущенной синьке  
вечера. Кухни, зады, косынки,  
слюдяная форточка керосинки

с адским пламенем. Ужины на верандах!  
Картошка во всех ее вариантах.  
Лук и редиска невероятных  
размеров, укроп, огурцы из кадки,  
помидоры, и все это — прямо с грядки,  
и, наконец, наигравшись в прятки,

пыльные ёмкости! Копоть лампы.  
Пляска теней на стене. Таланты  
и поклонники этого действия. Латы  
самовара и рафинад, от соли  
отличаемый с помощью мухи. Соло  
удода в малиннике. Или — ссоры

лягушек в канаве у сеновала.  
И в латах кипящего самовара —  
ужимки вытянутого овала,  
шорох газеты, курлы отрывок;  
из гостиной доносится четкий «чижик»;  
и мысль Симонида насчет лодыжек

избавляет на миг каленый  
взгляд от обоев и ответвлений  
боярышника: вид коленей  
всегда недостаточен. Тем дороже  
тело, что ткань, его скрыв, похоже,  
помогает скользить по коже,

лишенной узоров, присущих ткани,  
вверх. Тем временем чай в стакане,  
остывая, туманит грани,  
и пламя в лампе уже померкло.  
А после под одеялом мелко  
дрожит, тускло мерцая, стрелка

нового компаса, определяя  
Север не лучше, чем удалая  
мысль прокурора. Обрывки лая,  
пазы в разохшемся табурете,  
сонное кукареку в подклети,  
крик паровоза. Потом и эти

звуки смолкают. И глухо — глуше,  
чем это воспринимают уши —  
листва, бесчисленная, как души  
живших до нас на земле, лопочет  
нечто на диалекте почек,  
как языками, чей рваный почерк

— кляксы, клинопись лунных пятен —  
ни тебе, ни стене невнятен.  
И долго среди бугров и вмятин  
матраса вертишься, расплетая,  
где иероглиф, где запятая;  
и снаружи шумит густая,

еще не желтая, мощь Китая.

*1981*

## К УРАНИИ

И. К.

У всего есть предел: в том числе, у печали.  
Взгляд застревает в окне, точно лист —  
в ограде.

Можно налить воды. Позвенеть ключами.  
Одиночество есть человек в квадрате.  
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.  
Пустота раздвигается, как портьера.  
Да и что вообще есть пространство, если  
не отсутствие в каждой точке тела?  
Оттого-то Урания старше Клио.  
Днем, и при свете слепых коптилок,  
видишь: она ничего не скрыла,  
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.  
Вон они, те леса, где полно черники,  
реки, где ловят рукой белугу,  
либо — город, в чьей телефонной книге  
ты уже не числишься. Дальше, к югу,  
то есть, к юго-востоку, коричневеют горы,  
бродят в осоке лошади-пржевали;  
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,  
и простор голубеет, как белье с кружевами.

## РЕЗИДЕНЦИЯ

Небольшой особняк на проспекте Сагданапала. Пара чугунных львов с комплексом задних лап. Фортепьяно в гостиной, точно лакей-арап, скалит зубы, в которых, короткопала и близорука, ковыряет средь бела дня внучка хозяина. Пахнет лавандой. Всюду, даже в кухне, лоснится, дразня посуду, образ в масле мыслителя, чья родня доживает в Европе. И отсюда — тома Золя, Бальзака, канделябры, балясины, капители и вообще колоннада, в чьем стройном теле размещены установки класса «земля — земля».

Но уютней всего в восточном — его — крыле. В окнах спальни синее ольшаник, не то орешник, и сверчок верещит, не говоря уже о скворешнях с их сверхчувствительными реле. Здесь можно вечером щелкнуть дверным замком, остаться в одной сиреневой телогрейке. Вдалеке воронье гнездо как шахна еврейки, с которой был в молодости знаком, но, спасибо, расстались. И ничто так не клонит  
в сон,  
как восьмизначные цифры, составленные в колонку, да предсмертные вопли сознавшегося во всем сына, записанные на пленку.

## ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (1)

*Сюзанне Зонтаг*

### I

Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая  
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.  
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая  
вразнобой тишину.  
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,  
и рука, дотянуться до горлышка коротка,  
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго  
каменного платка.

### II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.  
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:  
дева в шальварах наигрывает на лютне  
такому же Мустафе.  
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза  
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,  
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,  
писавших, что — от любви.

### III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузэ, ни арий.  
Одинокий каблук выстукивает диабаз.

Под фонарем ваша тень, как дрогнувший  
карбонарий,

отшатывается от вас  
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем  
с собственным эхом; оно обдает теплом  
мраморный, гулкий, пустой аквариум  
с запотевшим стеклом.

### IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон —  
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.

Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!  
жаброй хлопая, лещ!

От нечаянной встречи под потолком с богиней,  
сбросившей все с себя, кружится голова,  
и подъезды, чье небо воспалено ангиной  
лампочки, произносят «а».

### V

Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!  
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал  
зеркала! В епанче белый глубокий вырез  
как волновал!

Как сирокко — лагуну. Как посреди панели  
здесь превращались юбки и панталоны в щи!  
Где они все теперь — эти маски, полишинели,  
перевертни, плащи?



## VI

Так меркнут люстры в опере; так на убыль  
к ночи идут в объеме медузами купола.  
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,  
и площадь — как камбала.  
Так подбирает гребни, выпавшие из женских  
взбитых причесок, для дочерей Нерей,  
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг  
уличных фонарей.

## VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке  
воздуха удержать ноту от тишины,  
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,  
плохо освещены.  
Только фальцет звезды меж телеграфных линий —  
там, где глубоким сном спит гражданин Перми \*.  
Но вода аплодирует, и набережная — как иней,  
осевший на до-ре-ми.

## VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,  
спихивая как за борт буквы в конец строки,  
тщится рассудок предохранить от крена  
выпитому вопреки.  
Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,  
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,  
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем  
нежность не соскрести.

1982

---

、 \* С. Дягилев.

## ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (2)

*Геннадию Шмакову*

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый  
парус.

От пощечины булочника матовая щека  
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус  
в лавке ростовщика.

Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде  
школьники на бегу, утренние лучи  
перебирают колонны, аркады, пряди  
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор  
бедер новой Сусанны сопровождаем при  
погружении под воду стрекотом кинокамер  
новых старцев. Два-три  
грузных голубя, снявшихся с капители,  
на лету превращаются в чаек: таков налог  
на полет над водой, либо — поклеп постели,  
сонный, на потолок.

### III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки  
спящей красавицы, что ко всему глуха.  
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,  
и ангелы — от греха.  
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.  
Пена бледного шелка захлестывает, легка,  
стулья и зеркало — местный стеклянный выход  
вещи из тупика.

### IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную  
раковину затопляет дребезг колоколов.  
То бредут к водопою глотнуть речную  
рябь стада куполов.  
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,  
крепкий кофе, скомканное тряпье.  
И макает в горло дракона золотой Егорий,  
как в чернила, копье.

### V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,  
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,  
припадает к стеклу всей грудью, как в амбразуре,  
и сдаётся стеклу.  
Кучерявая свора тщится настигнуть вора  
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.  
Город выглядит как толчея фарфора  
и битого хрусталя.

## VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,  
как непарная обувь с ноги Творца,  
ревностно топчут шпильки, пилястры, арки,  
выражение лица.

Все помножено на два, кроме судьбы и кроме  
самой H<sub>2</sub>O. Но, как всякое в мире «за»,  
в меньшинстве оставляет ее и кровли  
праздная бирюза.

## VII

Так выходят из вод, ошеломляя гладью  
кожи бугристый берег, с цветком в руке,  
забывая про платье, предоставляя платью  
всплескивать вдалеке.

Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен,  
пахнут  
водорослями, отличаясь от вообще людей,  
голубей отрывая от сумасшедших шахмат  
на торцах площадей.

## VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле  
под открытым небом, зимой, в одном  
пиджаке, поддав, раздвигая скулы  
фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней  
мелких бликов тусклый зрачок казня  
за стремление запомнить пейзаж, способный  
обойтись без меня.

## СИДЯ В ТЕНИ

### I

Ветренный летний день.  
Прижавшееся к стене  
дерево и его тень.  
И тень интересней мне.  
Тропа, получив плетей,  
убегает к пруду.  
Я смотрю на детей,  
бегающих в саду.

### II

Свирепость их резвых игр,  
их безутешный плач  
смутили б грядущий мир,  
если бы он был зряч.  
Но порок слепоты  
время приобрело  
в результате лапты,  
в которую нам везло.

### III

Остекленелый кирпич  
царапает голубой  
купол как паралич  
нашей мечты собой  
пространство одушевить;  
внешность этих громад  
может вас пришибить,  
мозгу поставить мат.

### IV

Новый пчелиный рой  
эти ульи займет,  
производя жилой,  
электрический мед.  
Дети вытеснят нас  
в пригородные сады  
памяти — тешить глаз  
зрелищем пустоты.

### V

Природа научит их  
тому, что сама в нужде  
зазубрила, как стих:  
времени и т. д.  
Они снабдят цифру «100»  
завитками плюща,  
если не вечность, то  
постоянство ища.

## VI

Ежедневная ложь  
и жужжание мух  
будут им невтерпеж,  
но разовьют их слух.  
Зуб отличит им медь  
от серебра. Листва  
их научит шуметь  
голосом большинства.

## VII

После нас — не потоп,  
где довольно весла,  
но наважденье толп,  
множественного числа.  
Пусть торжество икры  
над рыбой еще не грех,  
но ангелы — не комары,  
и их не хватит на всех.

## VIII

Ветреный летний день.  
Запахи нечистот  
затмевают сирень.  
Брюзжа, я брюзжу как тот,  
кому застать повезло  
уходящий во тьму  
мир, где, делая зло,  
мы знали еще — кому.

## IX

Ветреный летний день.  
Сад. Отдаленный рев  
полицейских сирен  
как грядущее слов.  
Птицы клюют из урн  
мусор взамен пшена.  
Голова, как Сатурн,  
болью окружена.

## X

Чем искреннее певец,  
тем все реже, увы,  
давешний бубенец  
вибрирует от любви.  
Пробовавшая огонь,  
трогавшая топор,  
сильно вспотев, ладонь  
не потреплет вихор.

## XI

Это — не страх ножа  
или новых тенет,  
но того рубежа,  
за каковым нас нет.  
Так способен Луны  
снимок насторожить:  
жизнь, как меру длины,  
не к чему приложить.



## XII

Тысячелетье и век  
сами идут к концу,  
чтоб никто не прибег  
к бомбе или к свинцу.  
Дело столь многих рук  
гибнет не от меча,  
но от дешевых брюк,  
скинутых сгоряча.

## XIII

Будущее черно,  
но от людей, а не  
оттого, что оно  
черным кажется мне.  
Как бы беря займы,  
дети уже сейчас  
видят не то, что мы;  
безусловно, не нас.

## XIV

Взор их неуловим.  
Жилистый сорванец,  
уличный херувим,  
впившийся в лёденец,  
из рогатки в саду  
целясь по воробью,  
не думает — «попаду»,  
но убежден — «убью».

## XV

Всякая зоркость суть  
знак сиротства вещей,  
не получивших грудь.  
Апофеоз прыщей  
вооружен зрачком,  
вписываясь в чей круг,  
видимый мир — ничком  
и стоямя — близорук.

## XVI

Данный эффект — порок  
только пространства, впрок  
не запасшего клоч.  
Так глядит в потолок  
падающий в кровать;  
либо — лишенный сна —  
он же, чего скрывать,  
забирается на.

## XVII

Эта песнь без конца  
есть результат родства,  
серенада отца,  
ария меньшинства,  
петая сумме тел,  
в просторечьи — толпе,  
наводнившей партер  
под занавес и т. п.

## XVIII

Ветреный летний день.  
Детская беготня.  
Дерево и его тень,  
упавшая на меня.  
Рваные хлопья туч.  
Звонкий от оплеух  
пруд. И отвесный луч  
— как липучка для мух.

## XIX

Впитывая свой сок,  
пачкая куст, тетрадь,  
множась, точно песок,  
в который легко играть,  
дети смотрят в ту даль,  
куда, точно грош в горсти,  
зеркало, что Стендаль  
брал с собой, не внести.

## XX

Наши развив черты,  
ухватки и голоса  
(знак большой нищеты  
природы на чудеса),  
выпятив челюсть, зоб,  
дети их исказят  
собственной злостью — чтоб  
не отступить назад.

## XXI

Так двигаются вперед,  
за горизонт, за грань.  
Так, продолжая род,  
предает себя ткань.  
Так, подмешавши дробь  
в ноль, в лейкоциты — грязь,  
предает себя кровь,  
свертыванья страшась.

## XXII

В этом и есть, видать,  
роль материи во  
времени — передать  
*всё* во власть *ничего*,  
чтоб заселить верто-  
град голубой мечты,  
разменявши *ничто*  
на собственные черты.

## XXIII

Так в пустыне шатру  
слышится тамбурин.  
Так впопыхах икру  
мечут в ультрамарин.  
Так марают листы  
запятая, словцо.  
Так говорят «лишь ты»,  
заглядывая в лицо.

*Июнь, 1983 г.*

## КЕЛОМЯККИ

М. Б.

### I

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны, городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни — телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров». И никаким топором не наколешь дров отопить помещенье. Наоборот, иной дом согреть порывался своей спиной самую зиму и разводил цветы в синих стеклах веранды по вечерам; и ты, как готовясь к побегу и азимут отыскав, засыпала там в шерстяных носках.

### II

Мелкие, плоские волны моря на букву «б», сильно схожие издали с мыслями о себе, набегали извилинами на пустынный пляж и смерзались в морщины. Сухой мандраж голых прутьев боярышника вынуждал порой сетчатку покрыться рябой корой. А то возникали чайки из снежной мглы, как замусоленные ничьей рукой углы белого, как пустая бумага, дня; и подолгу никто не зажигал огня.

### III

В маленьких городках узнаешь людей  
не в лицо, но по спинам длинных очередей;  
и население в субботу выстраивалось гуськом,  
как караван в пустыне за сах. песком  
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.  
В маленьком городе обыкновенно ешь  
то же, что остальные. И отличить себя  
можно было от них, лишь срисовывая с рубля  
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,  
либо — видя вещи твои везде.

### IV

Несмотря на все это, были они крепки,  
эти брошенные спичечные коробки  
с громыхавшими в них посудой двумя-тремя  
сырыми головками. И, воробья кормя,  
на него там смотрели всею семьей в окно,  
где деревья тоже сливались по вечерам в одно  
черное дерево, стараясь перерастить  
небо — что и случалось часам к шести,  
когда книга захлопывалась и когда  
от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

### V

Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,  
дар, холодея внутри, источать тепло  
вовне, постояльцев сближал с жильем,  
и зима простыню на веревке считала своим бельем.  
Это сковывало разговоры; смех  
громко скрипел, оставляя следы, как снег,

опушавший изморозью, точно хвою, края  
местоимений и превращавший «я»  
в кристалл, отливавший твердою бирюзой,  
но таявший после твоей слезой.

## VI

Было ли вправду все это? и если да, на кой  
будоражить теперь этих бывших вещей покой,  
вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне,  
имитируя — часто удачно — тот свет во сне?  
Воскресают кто верует: в ангелов, в корни (лес);  
а что Келомякки ведали, кроме рельс  
и расписанья железных вещей, свистя  
возникавших из небытия пять минут спустя  
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем  
жесть,  
мысль о любви и успевших сесть?

## VII

Ничего. Негашеная известь зимних пространств,  
подбирая с пустынных пригородных платформ,  
оставляла на них под тяжестью хвойных лап  
настоящее в черном пальто, чей драп,  
более прочный, нежели шевиот,  
предохранял там от будущего и от  
прошлого лучше, чем дымным стеклом — буфет.  
Нет ничего постоянной, чем черный цвет;  
так возникают буквы, либо — мотив «Кармен»,  
так засыпают одетыми противники перемен.

## VIII

Больше уже ту дверь не отпирать ключом  
с замысловатой бородкой, и не включить плечом  
электричество в кухне к радости огурца.  
Эта скворешня пережила скворца,  
кучевые и перистые стада.  
С точки зрения времени, нет «тогда»:  
есть только «там». И «там», напрягая взор,  
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,  
шаря в шкафах, роняя на пол роман,  
запуская руку к себе в карман.

## IX

Можно кивнуть и признать, что простой урок  
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,  
что Финляндия спит, затаив в груди  
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,  
из алюминия: лучше, видать, для рук.  
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,  
не представить пальму, муху цеце, фокстрот,  
монолог попугая — вернее, тот  
вид параллелей, где голым, поскольку — край  
света, гулял, как дикарь, Маклай.

## X

В маленьких городках, хранящих в подвалах  
скарб,  
как чужих фотографий, не держат карт —  
даже игральных — как бы кладя предел  
покушеньям судьбы на беззащитность тел.  
Существуют обои; и населенный пункт  
освобождает ими обычно от внешних пут



столь успешно, что дым норовит назад  
воротиться в трубу, не подводит фасад;  
что оставляют слившиеся в одно...  
белое после себя пятно.

## XI

Необязательно помнить, как звали тебя, меня;  
тебе достаточно блузки и мне — ремня,  
чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),  
что безымянность нам в самый раз, к лицу,  
как в итоге всему живому, с лица земли  
стираемому беззвучным всех клеток «пли».  
У вещей есть пределы. Особенно — их длина,  
неспособность сдвинуться с места. И наше право  
на  
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день  
клином падавшая в сугробы тень

## XII

дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,  
будем считать, что клин этот острый — наш  
общий локоть, выдвинутый вовне,  
которого ни тебе, ни мне  
не укусить, ни, подавно, поцеловать.  
В этом смысле, мы слились, хотя кровать  
даже не скрипнула. Ибо она теперь  
целый мир, где тоже есть сбоку дверь,  
которая — точно слышала где-то звон —  
годится только, чтоб выйти вон.

М. К.

Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве все подозрительно: подпись, бумага, числа. Даже ребенку скучно в такие цацки; лучше уж в куклы. Вот я и разучился. Теперь, когда мне попадается цифра девять с вопросительной шейкой (чаще всего, под утро) или (за полночь) двойка, я вспоминаю лебедь, плывущую из-за кулис, и пудра с потом щекочат ноздри, как будто запах набирается как телефонный номер или — шифр сокровища. Знать, погорев на злаках и серпах, я что-то все-таки сэкономил! Этой мелочи может хватить надолго. Сдача лучше хрусткой купюры, перила — лестниц. Брезгуя шелковой кожей, седая холка оставляет вообще далеко наездниц. Настоящее странствие, милая амазонка, начинается раньше, чем скрипнула половица, потому что губы смягчают линию горизонта, и путешественнику негде остановиться.

## В ИТАЛИИ

*Роберто и Флер Калассо*

И я когда-то жил в городе, где на домах росли  
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»  
бегал местный философ, тряся бородкой,  
и бесконечная набережная делала жизнь  
короткой.

Теперь там садится солнце, кариатид слепа.  
Но тех, кто любили меня больше самих себя,  
больше нету в живых. Утратив контакт с  
объектом  
преследования, собаки принохиваются к  
объедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей.  
Закат;

голоса в отдалении, выкрики типа «гад!  
уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.  
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.

Человек, дожив до того момента, когда нельзя  
его больше любить, брезгуя плыть противу  
бешеного течения, прячется в перспективу.

1985

*Евгению Рейну*

Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке  
отражения город. Позвякивают куранты.  
Комната с абажуром. Ангелы вдалеке  
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.  
Я пишу тебе это с другой стороны земли  
в день рожденья Христа. Снежное толковище  
за окном раздражается искренним «ай-люли»:  
белизна размножается. Скоро Ему две тыщи  
лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда,  
завтра — четверг. Данную годовщину  
нам, боюсь, отмечать не добавляя льда,  
избавляя следующую морщину  
от еёной щеки; в просторечии — вместе с Ним.  
Вот тогда мы и свидимся. Как звезда — селянина,  
через стенку пройдя, слух бередит одним  
пальцем разбуженное пианино,  
будто кто-то там учится азбуке по складам.  
Или нет — астрономии, вглядываясь в начертанья  
личных имен там, где нас нету: там,  
где сумма зависит от вычитанья.

*Декабрь, 1985 г.*

## НА ВИА ДЖУЛИА

*Теодоре Л.*

Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора.  
Будто ты не растаяла в воздухе пропеллерною  
снежинкой  
и возникаешь в сумерках, как свет в конце  
коридора,  
двигаясь в сторону площади с мраморной пиш.  
машинкой,  
и мы встаем из-за столиков! Кочевника от оседлых  
отличает способность глотнуть ту же жидкость  
дважды.

Не говоря об ангелах, не говоря о серых  
в яблоках, и поныне не утоливших жажды  
в местных фонтанах. Знать, велика пустыня  
за оградой собравшего рельсы в пучок вокзала!  
И струя буквально захлебывается, вестимо  
оттого, что не все еще рассказала  
о твоей красоте. Городам, Теодора, тоже  
свойственны лишние мысли, желанье счастья,  
плюс готовность придраться к оттенку кожи,  
к щиколоткам, к прическе, к длине запястья.  
Потому что становишься тем, на что смотришь,  
что близко видишь.  
С дальноркостью отпрыска джулий, октавий,  
ливий  
город смотрит тебе вдогонку, точно распутный  
витязь:  
чем длиннее их улицы, тем города счастливей.

## ЭЛЕГИЯ

М. Б.

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу  
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо

связки

не чета голой мышце, волосу, багажу  
под холодными буркалами, и не бздюме утряски  
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук  
не изнашивается в результате тренья  
о разреженный воздух, но, близорук, из двух  
зол выбирает обычно бóльшее: повторенье  
некогда сказанного. Трезвая голова  
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,  
точно пластинка, стачивая слова,  
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку  
из заросшей извилины — как отдавая честь  
наважденью в форме нехватки текста  
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть  
вещи, предметы, между собой столь тесно  
связанные, что, норovia прослыть  
подлинно матерью и т. д. и т. п., природа  
могла бы сделать еще один шаг и слить  
их воедино: тум-тум фокстрота  
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас  
в крайнем случае. То есть, повысить в ранге  
достиженья Мичурина. У щуки уже сейчас  
чешуя цвета консервной банки,  
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей  
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,

чем увеличивает; вспомни размер зверей в плейстоценовой чаще. Мы — только части крупного целого, из коего вьется нить к нам, как шнур телефона, от динозавра оставляя простой позвоночник. Но позвонить по нему больше некуда, кроме как в послезавтра, где откликнется лишь инвалид — зане потерявший конечность, подругу, душу есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне как выползти из воды на сушу.

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная  
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или  
прислуга,  
«Тарту».

Но надвигаются лица, не знающие друг друга,  
местности, нанесенные точно вчера на карту,  
и заполняют вакуум. Видимо, никому из  
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших  
венах  
недостаточно извести. «В нашей семье — волнуясь,  
ты бы вставила — не было ни военных,  
ни великих мыслителей». Правильно: невским  
струям  
отраженье еще одной вещи невыносимо.

Где там матери и ее кастрюлям  
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!  
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за  
неимением тела  
тает, ссылаясь на неспособность клеток —  
то есть, извилин! — вспомнить, как ты хотела,  
пудря щеку, выглядеть напоследок.  
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,  
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда  
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,  
дребезжа, как сдаваемая посуда.



## АРИЯ

### I

Что-нибудь из другой  
оперы, — типа Верди.  
Мало ли под рукой?  
Вообще — в круговерти.  
Безразлично о ком.  
Трудным для подражания  
птичкиным языком.  
Лишь бы без содержанья.

### II

Скоро мене полста.  
Вон гоношится бобрик  
стриженого куста.  
Вон изменяет облик,  
как очертанья льдин,  
марля небесных клиник.  
Что это, я — один?  
Или зашел в малинник?

### III

Розовый истукан  
здесь я себе поставил.  
В двух шагах — океан,  
место воды без правил.

Вряд ли там кто-нибудь,  
кроме солнца, садится,  
как успела шепнуть  
аэроплану птица.

#### IV

Что-нибудь про спираль  
в башне. И про араба  
и про его сераль.  
Это редкая баба  
если не согрешит.  
Мысль не должна быть четкой.  
Если в горле першит,  
можно рискнуть чечеткой.

#### V

День пролетел; пчела  
шепчет по-польски: «збродня».  
Лучше кричать вчера,  
чем сегодня. Сегодня  
оттого мы кричим,  
что, дав простор подошвам,  
рок, не щадя причин,  
топчется в нашем прошлом.

#### VI

Ах, потерявши нить,  
«моль» говорит холстинка.  
Взгляда не уронить  
ниже, чем след ботинка.  
У пейзажа — черты  
вывернутого кармана.  
Пение сироты  
радует меломана.

## ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ

Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом ветра. Автомобили катятся по булыжной мостовой, точно вода по рыбам Гудзона. Еле слышный голос, принадлежащий Музе, звучащий в сумерках как ничей, но ровный, как пенье зазимовавшей мухи, нашептывает слова, не имеющие значенья.

Неразборчивость буквы. Всклобоченная капуста туч. Светило, наказанное за грубость прикосновенья. Чье искусство — отнюдь не нежность, но близорукость. Жизнь в рассеянном свете! и по неделям ничего во рту, кроме бычка и пива. Зимой только глаз сохраняет зелень, обжигая голое зеркало как крапива.

Ах, при таком освещении вам ничего не надо!  
Ни торжества справедливости, ни подруги.  
Очертания вещи, как та граната,  
взрываются, попадая в руки.  
И конечности коченеют. Это  
оттого, что в рассеянном свете холод  
демонстрирует качества силуэта —  
особенно, если предмет немолод.

Спеть, что ли, песню о том, что не за горами?  
о сходстве целого с половинкой,  
о чувстве, будто вы загорали  
наоборот: в полнолуние, с финкой.  
Но никто, жилку надув на шее,  
не подхватит мотивчик ваш. Ни ценитель,  
ни нормальная публика: чем слышнее  
куплет, тем бесплотнее исполнитель.

## МУХА

*Альфреду и Ирэне Брендель*

I

Пока ты пела, осень наступила.  
Лучина печку растопила.  
Пока ты пела и летала,  
похолодало.

Теперь ты медленно ползешь по глади  
замызганной плиты, не глядя  
туда, откуда ты взялась в апреле.  
Теперь ты еле

передвигаешься. И ничего не стоит  
убить тебя. Но, как историк,  
смерть для которого скучней, чем мука,  
я медлю, муха.

II

Пока ты пела и летала, листья  
попадали. И легче литься  
воде на землю, чтоб назад из лужи  
воззриться вчуже.

А ты, видать, совсем ослепла. Можно  
представить цвет крупинки мозга,  
померкшей от твоей, брусчатке  
сродни, сетчатки,

и содрогнуться. Но тебя, пожалуй,  
устраивает дух лежалый  
жилья, зеленых штор понурость.  
Жизнь затянулась.

### III

Ах, цокотуха, потерявши юркость,  
ты выглядишь, как старый юнкерс,  
как черный кадр документальный  
эпохи дальней.

Не ты ли за полночь там то и дело  
над люлькою моей гудела,  
гонимая в оконной раме  
прожекторами?

А нынче, милая, мой желтый ноготь  
брюшко твоё горазд потрогать,  
и ты не вздрагиваешь от испуга,  
жужжа, подруга.

### IV

Пока ты пела, за окошком серость  
усилилась. И дверь расселась  
в пазах от сырости. И мерзнут пятки.  
Мой дом в упадке.

Но не пленить тебя ни пирамидой  
фаянсовой давно не мытой  
посуды в раковине, ни палаткой  
сахары сладкой.

Тебе не до того. Тебе не  
до мельхиоровой их дребедени;  
с ней связываться — себе дороже.  
Мне, впрочем, тоже.

V

Как старомодны твои крылья, лапки!  
В них чудится вуаль прабабки,  
смешавшаяся с позавчерашней  
французской башней —

— век номер девятнадцать, словом.  
Но, сравнивая с тем и овом  
тебя, я обращаю в прибыль  
твою погибель,

подталкивая ручкой подлой  
тебя к бесплотной мысли, к полной  
неосвязаемости раньше срока.  
Прости: жестоко.

VI

О чем ты гредишь? О своих избитых,  
но не рассчитанных никем орбитах?  
О букве шестирукой, ради  
тебя в тетради

расхристанной на месте плоском  
кириллицыным отголоском  
единственным, чей цвет, бывало,  
ты узнавала

и вспархивала. А теперь, слепая,  
не реагируешь ты, уступая  
плацдарм живым брюнеткам, женским  
ужимкам, жестам.

## VII

Пока ты пела и летала, птицы  
отсюда отбыли. В ручьях плотицы  
убавилось, и в рощах пусто.  
Хрустит капуста

в полях от холода, хотя одета  
по-зимнему. И бомбой где-то  
будильник тикает, лицом неточен,  
и взрыв просрочен.

А больше — ничего не слышно.  
Дома отбрасывают свет покрывно  
обратно в облако. Трава пожухла.  
Немного жутко.

## VIII

И только двое нас теперь — заразы  
разносчиков. Микробы, фразы  
равно способны поражать живое.  
Нас только двое:

твое страшщееся смерти тельце,  
мои, играющие в земледельца  
с образованием примерно восемь  
пудов. Плюс осень.



Совсем испортилась твоя жужжалка!  
Но времени себя не жалко  
на нас растрачивать. Скажи спасибо,  
что — неспесиво,

IX

что совершенно небрезгливо, либо —  
не чувствует, какая липа  
ему подсовывается в виде вялых  
больших и малых

пархатостей. Ты отлеталась.  
Для времени, однако, старость  
и молодость неразличимы.  
Ему причины

и следствия чужды де-юре,  
а данные в миниатюре  
— тем более. Как пальцам в спешке  
— орлы и решки.

X

Оно, пока ты там себе мелькала  
под лампочкою вполнакала,  
спасаясь от меня в стропила,  
таким же было,

как и сейчас, когда с бесцветной пылью  
ты сблизилась, благодаря бессилью  
и отношению ко мне. Не думай  
с тоской угрюмой,

что мне оно — большой союзник.  
Глянь, милая: я — твой союзник,  
подельник, закадычный кореш;  
срок не ускоришь.

## XI

Снаружи осень. Злополучье голых  
ветвей кизиловых. Как при монголах:  
брак серой низкорослой расы  
и желтой массы.

Верней — сношения. И никому нет дела  
до нас с тобой. Мной овладело  
оцепенение — сиречь твой вирус.  
Ты б удивилась,

узнав, как сильно заражает, сонность  
и безразличие рождая, склонность  
расплачиваться с планетой  
ее монетой.

## XII

Не умирай! сопротивляйся, ползай!  
Существовать неинтересно с пользой.  
Тем паче, для себя: казенной.  
Честней без оной

смущать календари и числа  
присутствием, лишенным смысла,  
доказывая посторонним,  
что жизнь — синоним

небытия и нарушенья правил.  
Будь помоложе ты, я б взор направил  
туда, где этого в избытке. Ты же  
стара и ближе.

### XIII

Теперь нас двое, и окно с поддувом.  
Дождь стекла пробует нетвердым клювом,  
нас заштриховывая без нажима.  
Ты недвижимая.

Нас двое, стало быть. По крайней мере,  
когда ты кончишься, я факт потери  
отмечу мысленно — что будет эхом  
твоих с успехом

когда-то выполненных мертвых петель.  
Смерть, знаешь, если есть свидетель,  
отчетливее ставит точку,  
чем в одиночку.

### XIV

Надеюсь все же, что тебе не больно.  
Боль места требует и лишь окольно  
к тебе могла бы подобраться, с тыла  
накрыть. Что было

бы, видимо, моей рукою.  
Но пальцы заняты пером, строкою,  
чернильницей. Не умирай, покуда  
не слишком худо,

покамест дергаешься. Ах, гумозка!

Плевать на состоянье мозга:  
вещь, вышедшая из повиновенья,  
как то мгновенье,

## XV

по-своему прекрасна. То есть,  
заслуживает, удостоясь  
овации наоборот, продлиться.  
Страх суть таблица

зависимостей между личной  
беспомощностью тел и лишней  
секундой. Выражаясь сухо,  
я, цокотуха,

пожертвовать своей согласен.  
Но вроде этот жест напрасен:  
сдает твоя шестерка, Шива.  
Тебе паршиво.

## XVI

В провалах памяти, в ее подвалах,  
среди ее сокровищ — палых,  
растаявших и проч. (вообще их  
ни при кощях

не пересчитывали, ни, тем паче,  
позднее), среди этой сдачи  
с существования, приют нежесткий  
твоею тезкой

неполною, по кличке Муза,  
уже готовится. Отсюда, муха,  
длинноты эти, эта как бы свита  
букв, алфавита.

## XVII

Снаружи пасмурно. Мой орган тренья  
о вещи в комнате, по кличке зренье,  
сосредоточивается на обоях.  
Увы, с собой их

узор насиженный ты взять не в силах,  
чтоб ошарашить серафимов хилых  
там, в эмпиреях, где царит молитва,  
идеей ритма

и повторимости, с их колокольни —  
бессмысленной, берущей корни  
в отчаяньи, им — насекомым  
туч — незнакомым.

## XVIII

Чем это кончится? Мушиным Раем?  
Той пасекой, верней — сараем,  
где над малиновым вареньем сонным  
кружатся сонмом

твои предшественницы, издавая  
звук поздней осени, как мостовая  
в провинции. Но дверь откроем —  
и бледным роем

они рванутся мимо нас обратно  
в действительность, ее опрятно  
укутывая в плотный саван  
зимы — тем самым

## ХІХ

подчеркивая — благодаря мельканью, —  
что души обладают тканью,  
материей, судьбой в пейзаже;  
что, цвета сажи,

вещь в колере — чем бить баклуши —  
меняется. Что, в сумме, души  
любое превосходят племя.  
Что цвет есть время

или стремление за ним угнаться,  
великого Галикарнасца  
цитируя то в фас, то в профиль  
холмов и кровель.

## ХХ

Отпрянув перед бледным вихрем,  
узнаю ли тебя я в ихнем  
заведомо крылатом войске?  
И ты по-свойски

спланируешь на мой затылок,  
соскучившись вдали опилок,  
чьим шорохом весь мир морочим?  
Едва ли. Впрочем,

дав дуба позже всех — столетней! —  
ты, милая, меж них последней  
окажешься. И если примут,  
то местный климат

## XXI

с его капризами в расчет принявши,  
спешащую сквозь воздух в наши  
пределы я тебя увижу  
весной, чью жижу

топча, подумаю: звезда сорвалась,  
и, преодолевая вялость,  
рукою вслед махну. Однако  
не Зодиака

то будет жертвой, но твоей душою,  
летающею совпасть с чужою  
личинкой, чтоб явить навозу  
метаморфозу.

1985

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.  
В эту пору — разгул Пинкертонам,  
и себя настигаешь в любом естестве  
по небрежности оттиска в оном.  
За такие открытья не требуют мзды;  
тишина по всему околотку.  
Сколько света набилось в осколок звезды,  
на ночь глядя! как беженцев в лодку.  
Не ослепни смотри! Ты и сам сирота,  
отщепенец, стервец, вне закона.  
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —  
пар клубами, как профиль дракона.  
Помолись лучше вслух, как второй Назорей,  
за бредущих с дарами в обеих  
половинках земли самозванных царей  
и за всех детей в колыбелях.

1985



В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой, и одна в углу говорила мне: «Молодой! Молодой, поди, кому говорю, сюда». И я шел, хотя голова у меня седа.

А в другой — красной дранкой свисали со стен ножи, и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи!» Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой, то в ней было просторней, чем в той, другой.

В третьей — всюду лежала толстая пыль, как жир пустоты, так как в ней никто никогда не жил. И мне нравилось это лучше, чем отчий дом, потому что так будет везде потом.

А четвертую рад бы вспомнить, но не могу, потому что в ней было как у меня в мозгу. Значит, я еще жив. То ли там был пожар, либо — лопнули трубы; и я бежал.

1986

## ЭЛЕГИЯ

А. А.

Прошло что-то около года. Я вернулся на место  
битвы,  
к научившимся крылья расправлять у опасной  
бритвы  
или же — в лучшем случае — у удивленной брови  
птицам цвета то сумерек, то испорченной крови.

Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток,  
бронзой  
загорелых доспехов, погасшей улыбкой, грозной  
мыслью о свежих резервах, памятью об изменах,  
оттиском многих тел на выстиранных знаменах.

Всё зарастает людьми. Развалины — род упрямой  
архитектуры, и разница между сердцем и черной  
ямой  
невелика — не настолько, чтобы бояться,  
что мы столкнемся однажды вновь, как слепые  
яйца.

По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит,  
я отправляюсь пешком к монументу, который  
отлит  
из тяжелого сна. И на нем начертано: Завоеватель.  
Но читается как «завыватель». А в полдень — как  
«забыватель».

1986

## НА ВЫСТАВКЕ КАРЛА ВЕЙЛИНКА

*Аде Стрёве*

I

Почти пейзаж. Количество фигур,  
в нем возникающих, идет на убыль  
с наплывом статуй. Мрамор белокур,  
как наизнанку вывернутый уголь,  
и местность мнится северной; плато;  
гиперборей, взъерошивший капусту.  
Всё так горизонтально, что никто  
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

II

Возможно, это — будущее. Фон  
раскаяния. Мести сослуживцу.  
Глухого, но отчетливого «вон!».  
Внезапного приема джиу-джитсу.  
И это — город будущего. Сад,  
чьи заросли рассматриваешь в оба,  
как ящерица в тропиках — фасад  
гостиницы. Тем паче — небоскреба.

### III

Возможно также — прошлое. Предел  
отчаяния. Общая вершина.  
Глаголы в длинной очереди к «л».  
Улегшаяся буря крепдешина.  
И это — царство прошлого. Тропы,  
заглохнувшей в действительности. Лужи,  
хранящей отраженья. Скорлупы,  
увиденной яичницей снаружи.

### IV

Бесспорно — перспектива. Календарь.  
Верней, из воспалившихся гортаней  
туннель в психологическую даль,  
свободную от наших очертаний.  
И голосу, подробнее, чем взор,  
знакомому с ландшафтом неуспеха,  
сподручней выбрать большее из зол  
в расчете на чувствительное эхо.

### V

Возможно — натюрморт. Издалека  
всё, в рамку заключенное, частично  
мертво и неподвижно. Облака.  
Река. Над ней кружащаяся птичка.  
Равнина. Часто именно она,  
принять другую форму не умея,  
становится добычей полотна,  
открытки, оправданьем Птолемея.

## VI

Возможно — зебра моря или тигр.  
Смесь скинутого платья и преграды  
облизывает щиколотки икр  
к загару неспособной балюстрады,  
и время, мнится, к вечеру. Жара;  
сняв потный молот с пыльной наковальни,  
настойчивое соло комара  
кончается овациями спальни.

## VII

Возможно — декорация. Дают  
«Причины Нечувствительность к Разлуке  
со Следствием». Приветствуя уют,  
певцы не столь нежны, сколь близоруки,  
и «до» звучит как временное «от».  
Блестящее, как капля из-под крана,  
вибрируя, над проволокой нот  
парит лунообразное сопрано.

## VIII

Бесспорно, что — портрет, но без прикрас:  
поверхность, чьи землистые оттенки  
естественно приковывают глаз,  
тем более — поставленного к стенке.  
Поодаль, как уступка белизне,  
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,  
спиною чуя брошенный извне  
взгляд живописца — взгляд самоубийцы.

## IX

Что, в сущности, и есть автопортрет.  
Шаг в сторону от собственного тела,  
повернутый к вам в профиль табурет,  
вид издали на жизнь, что пролетела.  
Вот это и зовется «мастерство»:  
способность не страшиться процедуры  
небытия — как формы своего  
отсутствия, списав его с натуры.

1984

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

*Михаилу Николаеву*

Председатель Совнаркома, Наркомпроса,  
Мининдела!  
Эта местность мне знакома, как окраина Китая!  
Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо  
тела.  
Многоточие шинели. Вместо мозга — запятая.  
Вместо горла — темный вечер. Вместо буркал —  
знак деленья.  
Вот и вышел человек, представитель населенья.  
Вот и вышел гражданин,  
достающий из штанин.

«А почему та радиола?»  
«Кто такой Савонарола?»  
«Вероятно, сокращенье».  
«Где сортир, прошу прощенья?»

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких  
пальцах — папироса.  
В чистом поле мчится скорый с одиноким  
пассажиром.  
И нарезанные косо, как полтавская, колеса  
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника  
жиром  
оживляют скатерть снега, полустанки и развилки  
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.  
Прячась в логово свое,  
волки воют «Ё-моё».





«Приучил ее к минету».  
«Что за шум, а драки нету?»  
«Крыл последними словами».  
«Кто последний? Я за вами».

Входит пара Александров под конвоем Николаши,  
говорят «Какая лажа» или «Сладкое повидло».  
По Европе бродят нары в тщетных поисках  
параши,  
натываясь повсеместно на застенчивое быдло.  
Размышляя о причале, по волнам плывет «Аврора»,  
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.  
Ой ты, участь корабля:  
скажешь «пли!» — ответят «бля!»

«Сочетался с нею браком».  
«Все равно поставлю раком».  
«Эх, Цусима-Хиросима!  
Жить совсем невыносимо».

Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут  
в рощах.  
Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.  
Лучший вид на этот город — если сесть  
в бомбардировщик.  
Глянь — набрякшие, как вата из нескромных  
ложбины,  
размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.  
Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.  
Ветер свищет. Выпь кричит.  
Дятел ворону стучит.

«Говорят, открылся Пленум».  
«Врезал ей меж глаз поленом».  
«Над арабской мирной хатой  
гордо реет жид пархатый».

Входит Сталин с Джугашвили, между ними вышла  
ссора.

Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,  
и дымящаяся трубка... Так, по мысли режиссера,  
и погиб Отец Народов, в день выкуривавший пачку.  
И стоят хребты Кавказа как в почетном карауле.  
Из коричневого глаза бьет ключом Напареули.

Друг-кунак вонзает клык  
в недоеденный шашлык.

«Ты смотрел Дерсу Узала?»

«Я тебе не всё сказала».

«Раз чучмек, то верит в Будду».

«Сукой будешь?» «Сукой буду».

Входит с криком Заграница, с запрещенным  
полушарьем

и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен.  
Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем,  
придирается к закону, кипит из-за пошлин,  
воскликая: «Как живете!» И смущают глянец

плоти

Рафаэль с Буонаротти — ни черта на обороте.

Пролетарии всех стран

маршируют в ресторан.

«В этих шкарах ты как янки».

«Я сломал ее по пьянке».

«Был всю жизнь простым рабочим».

«Между прочим, все мы дрович».

Входят Мысли О Грядущем, в гимнастерках цвета  
хаки.

Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом.

Они пляшут и танцуют: «Мы вояки-забияки!

Русский с немцем лягут рядом; например,

под Сталинградом».

И, как вдовы Матрёны, глухо воют циклотроны.  
В Министерстве Обороны громко каркают вороны.  
Входишь в спальню — вот-те на:  
на подушке — ордена.

«Где яйцо, там — сковородка».  
«Говорят, что скоро водка  
снова будет по рублю».  
«Мам, я папу не люблю».

Входит некто православный, говорит: «Теперь я —  
главный.  
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.  
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.  
Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю.  
Хуже порчи и лишая — мыслей западных зараза.  
Пой, гармошка, заглушая саксофон — исчадь  
джаза».

И лобзают образа  
с плачем жертвы обреза...

«Мне — бифштекс по-режиссерски».  
«Бурлаки в Североморске  
тянут крейсер бечевой,  
исхудав от лучевой».

Входят Мысли О Минувшем, все одеты как попало,  
с предпочтением к чернобурым. На классической  
латыни  
и вполголоса по-русски произносят: «Всё пропало,  
а) фокстрот под абажуром, черно-белые святыни;  
б) икра, севрюга, жито; в) красавицыны бели.  
Но — не хватит алфавита. И младенец в колыбели,  
слыша «баюшки-баю»,  
отвечает: «мать твою!».

«Влез рукой в шахну, знакомясь».  
«Подмахну — и в Сочи». «Помесь  
лейкоцита с антрацитом  
называется Коцитом».

Входят строем пионеры, кто — с моделью из  
фанеры,  
кто — с написанным вручную содержательным  
доносом.

С того света, как химеры, палачи-пенсионеры  
одобрительно кивают им, задорным и курносым,  
что врубают «Русский бальный» и вбегают в избу  
к тятю  
выгнать тятю из двуспальной, где их сделали,  
кровати.

Что попишешь? Молодежь.  
Не задушишь, не убьешь.

«Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду».  
«Я с ним рядом срать не сяду».  
«А моя, как та мадонна,  
не желает без гондона».

Входит Лебедь с Отраженьем в круглом зеркале,  
в котором  
взвод берез идет вприсядку, первой скрипке корча  
рожи.

Пылкий мэтр с воображеньем, распаленным  
гренадером,  
только робкого десятку, рвет когтями бархат ложи.  
Дождь идет. Собака лает. Свесясь с печки, дрянь  
косая  
с голым задом донимает инвалида, гвоздь кусая:

«Инвалид, а инвалид.  
У меня внутри болит».

«Ляжем в гроб, хоть час не пробил!»  
«Это — сука или кобель?»  
«Склока следствия с причиной  
прекращается с кончиной».

Входит Мусор с криком: «Хватит!» Прокурор скулу  
квадратит.  
Дверь в пещеру гражданина не нуждается  
в «сезаме».  
То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку  
катит,  
обливаясь щедрым недрам в масть кристальными  
слезами.  
И за смертную чертою, лунным светом залитою,  
челюсть с фиксой золотою блещет вечной  
мерзлотою.

Знать, надолго хватит жил  
тех, кто головы сложил.

«Хата есть, да лень тащиться».  
«Я не блядь, а крановщица».  
«Жизнь возникла как привычка  
раньше куры и яичка».

Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!  
Взвиться соколом под купол! Сократиться  
в аскарида!  
Либо всем, включая кукол, языком взбивая пену,  
хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида.  
Бо, пространство экономя, как отлиться в форму  
массе,  
к кроме кладбища и кроме черной очереди к кассе?  
Эх, даешь простор степной  
без реакции цепной!

«Дайте срок без приговора!»  
«Кто кричит: «Держите вора!»?»  
«Рисовала член в тетради».  
«Отпустите, Христа ради».

Входит Вечер в Настоящем, дом у чорта на  
куличках.  
Скатерть спорит с занавеской в смысле внешнего  
убранства.  
Исключив сердцебиенье — этот лепет я  
в кавычках —  
ощущенье, будто вычтен Лобачевский  
из пространства.  
Ропот листьев цвета денег, комариный ровный  
зуммер.  
Глаз не в силах увеличить шесть-на-девять тех,  
кто умер,  
кто пророс густой травой.  
Впрочем, это не впервой.

«От любви бывают дети.  
Ты теперь один на свете.  
Помнишь песню, что, бывало,  
я в потемках напевала?»

Это — кошка, это — мышка.  
Это — лагерь, это — вышка.  
Это — время тихой сапой  
убивает маму с папой».



### III

Это, видимо, значит, что мы теперь заодно с жизнью. Что я сделался тоже частью шелестящей материи, чье сукно заражает кожу бесцветной мастью.

Я теперь тоже в профиль, верно, не отличим от какой-нибудь латки, складки, трико паяца, долей и величин, следствий или причин — от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться.

### IV

Тронь меня — и ты тронешь сухой репей, сырость, присущую вечеру или полдню, каменоломню города, ширь степей, тех, кого нет в живых, но кого я помню.

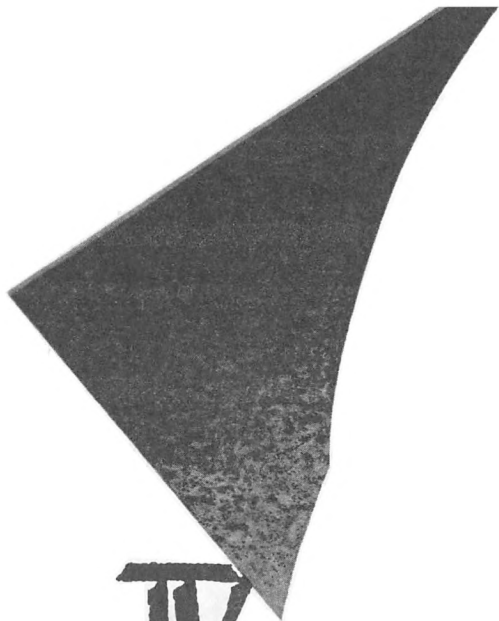
Тронь меня — и ты заденешь то, что существует помимо меня, не веря мне, моему лицу, пальто, то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря.

### V

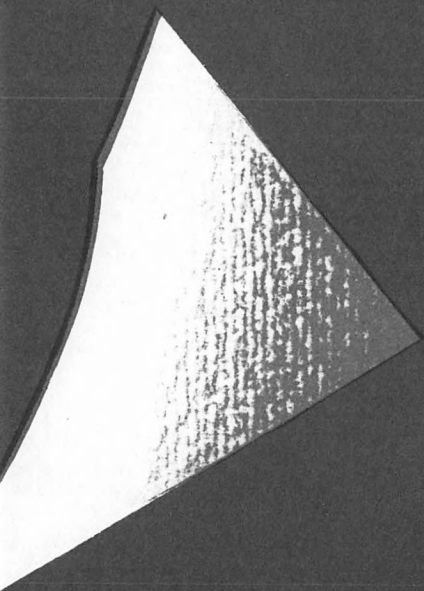
Я говорю с тобой, и не моя вина, если не слышно. Сумма дней, намозолив человеку глаза, так же влияет на связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.

Это — чтоб лучше слышать кукареку, тик-так, в сердце пластинки шаркающую иголку.  
Это — чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как Красная Шапочка не сказала волку.





IV



*Л. К.*

В этой маленькой комнате все по-старому:  
аквариум с рыбкою — все убранство.  
И рыбка плавает, глядя в сторону,  
чтоб увеличить себе пространство.

С тех пор, как ты навсегда уехала,  
похолодало, и чай не сладок.  
Сделавшись мраморным, место около  
в сумерках сходит с ума от складок.

Колесо и каблук оставляют в покое улицу,  
горделивый платан не меняет позы.  
Две половинки карманной луковицы  
после восьми могут вызвать слезы.

Часто чудится Греция: некая роща, некая  
охотница в тунике. Впрочем, чаще  
нагая преследует четвероное  
красное дерево в спальней чаще.

Между квадратом окна и портретом прадеда  
даже нежный сквозняк выберет занавеску.  
И если случается вспомнить правило,  
то с опозданием и не к месту.

В качку, увы, не устоять на палубе.  
Бурю, увы, не срисовать с природы.  
В городах только дрозды и голуби  
верят в идею архитектуры.

Несомненно, все это скоро кончится —  
быстро и, видимо, некрасиво.  
Мозг — точно айсберг с потекшим контуром,  
сильно увлекшийся Куросиво.

Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат  
отстрел  
утки, рябчика, вальдшнепа. «Ах, как ты постарел»  
скажет тебе одна, и ты задерешь двустволку,  
но чтоб глубже вздохнуть, а не спугнуть перепелку.  
И легкое чутко дернется: с лотков продают урюк.  
Но и помимо этого мир вокруг  
меняется так стремительно, точно он стал  
колоться  
дурью, приобретенной у смуглого инородца.

Дело, конечно, не в осени. И не в чертах лица,  
меняющихся, как у зверя, бегущего на ловца,  
но в ощущении кисточки, оставшейся от картины,  
лишенной конца, начала, рамы и середины.  
Не говоря — музея, не говоря — гвоздя.  
И поезд вдали по равнине бежит, свистя,  
хотя, взглядевшись как следует, ты не заметишь  
дыма.  
Но с точки зренья ландшафта, движенье  
необходимо.

Это относится к осени, к времени вообще,  
когда кончаешь курить и когда еще  
деревья кажутся рельсами, сбросившими колеса,  
и опушки ржавеют, как узловые леса.

И в горле уже не комок, но стопроцентный ёж —  
ибо в открытом море больше не узнаешь  
силуэт парохода, и профиль аэроплана,  
растерявший все нимбы, выглядит в вышних  
странно.

Так прибавляют в скорости. Подруга была права.  
Что бы узнал древний римлянин, проснись он  
сейчас? Дрова,  
очертания облака, голубя в верхотуре,  
плоскую воду, что-то в архитектуре,  
но — никого в лицо. Так некоторые порой  
ездят еще за границу, но, лишены второй  
жизни, спешат воротиться, пряча глаза от страха,  
и, не успев улечься от прощального взмаха,

платочек трепещет в воздухе. Другие, кому уже  
выпало что-то любить больше, чем жизнь, в душе  
зная, что старость — это и есть вторая  
жизнь, белеют на солнце, как мрамор, не загорая,  
установившись в некую точку и не чужды утех  
истории. Потому что чем больше тех  
точек, тем больше крапинок на проигравших  
в прятки  
яйцах рябчика, вальдшнепа, вспугнутой куропатки.

## ПРИМЕЧАНИЕ К ПРОГНОЗАМ ПОГОДЫ

Аллея со статуями из затвердевшей грязи,  
похожими на срубленные деревья.  
Многих я знал в лицо. Других  
вижу впервые. Видимо, это — боги  
местных рек и лесов, хранители тишины,  
либо — сгустки чужих, мне невнятных  
воспоминаний.

Что до женских фигур — нимф и т. п. — они  
выглядят незаконченными, точно мысли;  
каждая пытается сохранить  
даже здесь, в наступившем будущем, статус гостыи.

Суслик не выскочит и не перебежит тропы.  
Не слышно ни птицы, ни тем более автомобиля:  
будущее суть панацея от  
того, чему свойственно повторяться.  
И по небу разбросаны, как вещи холостяка,  
тучи, вывернутые наизнанку  
и разглаженные. Пахнет хвоей,  
этой колкой субстанцией малознакомых мест.  
Изваяния высятся в темноте, чернея  
от соседства друг с дружкой, от безразличья  
к ним окружающего ландшафта.

Заговори любое из них, и ты  
скорей вздохнул бы, чем содрогнулся,  
услышав знакомые голоса, услышав

что-нибудь вроде «Ребенок не от тебя» или: «Я показал на него, но от страха, а не из ревности» — мелкие, двадцатилетней давности тайны слепых сердец, одержимых нелепым стремлением к власти над себе подобными и не замечавших тавтологии. Лучшие среди них были и жертвами и палачами.

Хорошо, что чужие воспоминанья вмешиваются в твои. Хорошо, что некоторые из этих фигур тебе кажутся посторонними. Их присутствие намекает на другие события, на другой вариант судьбы — возможно, не лучший, но безусловно тобою упущенный. Это освобождает — не столько воображение, сколько память — и надолго, если не навсегда. Узнать, что тебя обманули, что совершенно о тебе позабыли или — наоборот — что тебя до сих пор ненавидят — крайне неприятно. Но воображать себя центром даже невзрачного мирозданья непристойно и невыносимо.

Редкий,  
возможно, единственный посетитель  
этих мест, я думаю, я имею  
право описывать без прикрас  
увиденное. Вот она, наша маленькая Валгалла,  
наше сильно запущенное имение  
во времени, с горсткой ревизских душ,  
с угожьями, где отточенному серпу,  
пожалуй, особенно не разгуляться,  
и где снежинки медленно кружатся, как пример  
поведения в вакууме.



Только пепел знает, что значит сгореть дотла.  
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:  
не все уносимо ветром, не все метла,  
широко забирая по двору, подберет.  
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени  
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст.  
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,  
в перегной, в осадок, в культурный пласт.  
Замаравши совок, археолог разинет пасть  
отрыгнуть; но его открытие прогремит  
на весь мир, как зарытая в землю страсть,  
как обратная версия пирамид.  
«Падаль!» выдохнет он, обхватив живот,  
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,  
потому что падаль — свобода от клеток, свобода  
от  
целого: апофеоз частиц.

1986

## НАЗИДАНИЕ

### I

Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах,  
в избах, банях, лабазах — в бревенчатых теремах,  
чьи копченые стекла держат простор в узде,  
укрывайся тулупом и норови везде  
лечь головою в угол, ибо в углу трудней  
взмахнуть — притом в темноте — топором над ней,  
отяжелевшей от давеча выпитого, и аккурат  
зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат.

### II

Бойся широкой скулы, включая луну, рябой  
кожи щеки; предпочитай карему голубой  
глаз — особенно если дорога заводит в лес,  
в чащу. Вообще в глазах главное — их разрез,  
так как в последний миг лучше увидеть то,  
что — хотя холодней — прозрачнее, чем пальто,  
ибо лед может треснуть, и в полынье  
лучше барахтаться, чем в вязком, как мед, вранье.

### III

Всегда выбирай избу, где во дворе висят  
 пеленки. Якшайся лишь с теми, которым под  
 пятьдесят.  
 Мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе,  
 чтоб приписать за твой счет что-то еще себе;  
 то же самое — баба. Прячь деньги в воротнике  
 шубы; а если ты странствуешь налегке —  
 в брючине ниже колена, но не в сапог: найдут.  
 В Азии сапоги — первое, что крадут.

### IV

В горах продвигайся медленно; нужно ползти —  
 ползи.  
 Величественные издалека, бессмысленные вблизи,  
 горы есть форма поверхности, поставленной на  
 попа,  
 и кажущаяся горизонтальной выющаяся тропа  
 в сущности вертикальна. Лежа в горах — стоишь,  
 стоя — лежишь, доказывая, что, лишь  
 падая, ты независим. Так побеждают страх,  
 головокруженье над пропастью либо восторг  
 в горах.

### V

Не откликайся на «Эй, паря!» Будь глух и нем.  
 Даже зная язык, не говори на нем.  
 Старайся не выделяться — в профиль, анфас;  
 порой  
 просто не мой лица. И когда пилой  
 режут горло собаке, не морщись. Куря, гаси  
 папиросу в плевке. Что до вещей, носи  
 серое, цвета земли; в особенности — белье,  
 чтоб уменьшить соблазн тебя закопать в нее.

## VI

Остановившись в пустыне, складывай из камней стрелу, чтоб, внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней, в каком направлении двигаться. Демоны по ночам в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам может легко заблудиться: шаг в сторону — и кранты. Призраки, духи, демоны — дома в пустыне. Ты сам убедишься в этом, песком шурша, когда от тебя останется тоже одна душа.

## VII

Никто никогда ничего не знает наверняка. Глядя в широкую, плотную спину проводника, думай, что смотришь в будущее, и держись от него по возможности на расстояннн. Жизнь в сущности есть расстояние — между сегодня и завтра, иначе — будущим. И убыстрять свои шаги стоит, только ежели кто гонится по тропе сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.

## VIII

В кислом духе тряпья, в запахе кизняка цени равнодушие вещи к взгляду издалека и сам теряй очертанья, недосыгаем для бинокля, воспоминаний, жандарма или рубля. Кашляя в пыльном облаке, чавкая по грязи, какая разница, чем окажешься ты вблизи? Даже еще и лучше, что человек с ножом о тебе не успеет подумать как о чужом.

## IX

Реки в Азии выглядят длинней, чем в других частях света, богаче аллювием, то есть — мутней; в горстях, когда из них зачерпнешь, остается ил, и пьющий из них сокрушается после о том, что пил. Не доверяй отраженью. Переплывай на ту сторону только на сбитом тобою самим плоту. Знай, что отблеск костра ночью на берегу, вниз по реке скользя, выдаст тебя врагу.

## X

В письмах из этих мест не сообщай о том, с чем столкнулся в пути. Но, шелестя листом, повествуй о себе, о чувствах и проч.— письмо могут перехватить. И вообще само перемещение пера вдоль по бумаге есть увеличение разрыва с теми, с кем больше сесть или лечь не удастся, с кем — вопреки письму — ты уже не увидишься. Все равно, почему.

## XI

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи, под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал; когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни: пространство, которому, кажется, ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу способен только ты.

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности, привычной скорей  
к жаре,  
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем  
к горе,  
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;  
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый  
пар  
из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар,  
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.  
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,  
на лежащего в яслях ребенка издалека,  
из глубины Вселенной, с другого ее конца,  
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

*24 декабря 1987 г.*

## НОВАЯ ЖИЗНЬ

Представь, что война окончена, что воцарился мир. Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока или дрозд, а не юнкерс, щебечет на ветке «чирр». Что за окном не развалины города, а барокко города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ, лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Люди выходят из комнат, где стулья как буква «б» или как мягкий знак, спасают от головокруженья. Они не нужны, никому, только самим себе, плитняку мостовой и правилам умноженья. Это — влияние статуй. Вернее, их полых ниш. То есть, если не святость, то хоть ее синоним. Представь, что все это — правда. Представь, что ты говоришь о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем.

Жизнь начинается заново именно так — с картин изверженья вулкана, шлюпки, попавшей в бурю. С порожденного ими чувства, что ты один смотришь на катастрофу. С чувства, что ты в любую минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе. Их кричащие краски, их увядшие рты тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе.

Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы,  
о ней легко забывается. Вещи вообще холопы  
мысли. Отсюда их формы, взятые из головы,  
их привязанность к месту, качества Пенелопы,  
то есть потребность в будущем. Утром кричит  
петух.

В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной,  
кутаясь в простыню, выглядишь как пастух  
четвероногой мебели, железной и деревянной.

Представь, что эпос кончается идиллией. Что  
слова —  
обратное языку пламени: монологу,  
пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как  
дрова;

что в тебе оно видело мало проку,  
мало тепла. Поэтому ты уцелел.  
Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушья  
местных помон, вертумнов, венер, церер.  
Поэтому на устах у тебя эта песнь пастушья.

Сколько можно оправдываться. Как ни скрывай  
тузы,  
на стол ложатся вальты неизвестной масти.  
Представь, что чем искренней голос, тем меньше  
в нем слезы,  
любви к чему бы то ни было, страха, страсти.  
Представь, что порой по радио ты ловишь старый  
гимн.  
Представь, что за каждой буквой здесь тоже  
плетется свита  
букв, слагаясь неволью то в «бетси», то в  
«ибрагим»,  
перо выводя за пределы смысла и алфавита.



Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким «ц»;  
классическая перспектива, где не хватает танка  
либо — сырого тумана в ее конце;  
голый паркет, никогда не осязавший танго.  
В новой жизни мгновенью не говорят «постой»:  
остановившись, оно быстро идет насмарку.  
Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той  
их стороны черкнуть «привет» и приклеить марку.

Белые стены комнаты делаются белей  
от брошенного на них якобы для остротки  
взгляда, скорей привыкшего не к ширине полей,  
но в отсутствие в спектре их отрешенной краски.  
Многое можно простить вещи — тем паче, там,  
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство  
любопытства к этим пустым местам,  
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,  
будучи непрерывен — вроде самопознания.  
В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь  
на перроне в плаще, приходит без опоздания.  
Там, где есть горизонт, парус ему судья.  
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.  
И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» ответь:  
«кто я,  
я — никто», как Улисс некогда Полифему.

1988

## КЕНТАВРЫ I

Наполовину красавица, наполовину софа́,  
в просторечьи — Со́фа,  
по вечерам оглашая улицу, чьи окна отчасти ли́ца,  
стуком шести каблуков (в конце концов,  
катастрофа —  
то, в результате чего трудно не измениться),  
она спешит на свидание. Любовь состоит из тюля,  
волоса, крови, пружин, валика, счастья, родов.  
На две трети мужчина, на одну легковая — Муля —  
встречает ее рычанием холостых оборотов  
и увлекает в театр. В каждом бедре с пеленок  
сидит эта склонность мышцы к мебели,  
к выкрутасам  
красного дерева, к шкапу, у чьих филенок,  
в свою очередь, склонность к трем четвертям,  
к анфасам  
с отпечатками пальцев. Увлекает в театр,  
где, спрятавшись в пятый угол,  
наезжая впотьмах друг на дружку, месяц колесом  
фанеру,  
они наслаждаются в паузах драмой из жизни  
кукол,  
чем мы и были, собственно, в нашу эру.

## КЕНТАВРЫ II

Они выбегают из будущего и, прокричав  
«напрасно!»,  
тотчас в него возвращаются; вы слышите их  
чечетку.

На ветку садятся птицы, бóльшие, чем  
пространство,  
в них — ни пера, ни пуха, а только к черту, к черту.  
Горизонтальное море, крашенное закатом.  
Зимний вечер, устав от его заочной  
синевы, поигрывает, как атом  
накануне распада и проч., цепочкой  
от часов. Тело сгоревшей спички,  
голая статуя, безлюдная танцплощадка  
слишком реальны, слишком стереоскопичны,  
потому что им больше не во что превращаться.  
Только плоские вещи, как то: вода и рыба,  
слившись, в силах со временем дать вам  
ихтиозавра.

Для возникшего в результате взрыва  
профиля не существует завтра.

## КЕНТАВРЫ III

Помесь прошлого с будущим, данная в камне,  
крупным  
планом. Развитым торсом и конским крупом.  
Либо — простым грамматическим «был» и «буду»  
в настоящем продолженном. Дать эту вещь как  
грудю  
скушных подробностей, в голой избе на курьих  
ножках. Плюс нас, со стороны, на стульях.  
Или — слившихся с теми, кого любили  
в горизонтальной постели. Или в автомобиле,

суть в плену перспективы, в рабстве у линий. Либо просто в мозгу. Дать это вслух, крикливо, мыслью о смерти — частой, саднящей, вечной. Дать это жизнью сейчас и вечной жизнью, в которой, как яйца в сетке, мы все одинаковы и страшны насадке, повторяющей средствами нашей эры шестикрылую помесь веры и стратосферы.

#### КЕНТАВРЫ IV

Местность цвета сапог, цвета сырой портянки. Совершенно не важно, который век или который год.

На закате ревут, возвращаясь с полей, муу-танки: крупный единорогий скот.

Все переходят друг в друга с помощью слова «вдруг»

— реже во время войны, чем во время мира.

Меч, стосковавшись по телу при перековке в плуг, выскальзывает из рук, как мыло.

Без поводка от владельцев не отличить собак, в книге вторая буква выглядит слепком с первой; возле кинотеатра толпятся подростки, как белоголовки с замерзшей спермой.

Лишь многорукость деревьев для ветерана мзда за одноногость, за черный квадрат окопа с ржавой водой, в который могла б звезда упасть, спасаясь от телескопа.

## ОТКРЫТКА ИЗ ЛИССАБОНА

Монументы событиям, никогда не имевшим места:

Несостоявшимся кровопролитным войнам.  
Фразам, проглоченным в миг ареста.  
Помеси голого тела с хвойным  
деревом, давшей Сан-Себастьяна.  
Авиаторам, воспарявшим к тучам  
посредством крылатого фортепьяно.  
Создателю двигателя с горючим  
из отходов воспоминаний. Жёнам  
мореплавателей — над блюдом  
с одинокой яичницей. Обнаженным  
Конституциям. Полногрудым  
Независимостям. Кометам,  
пролетевшим мимо земли (в погоне  
за бесконечностью, чьим приметам  
соответствуют эти ландшафты, но не  
полностью). Временному соитию  
в бороде арестанта идеи власти  
и растительности. Открытию  
Инфарктики — неизвестной части  
того света. Ветреному кубисту  
кровель, внемлющему сопрано  
телеграфных линий. Самоубийству  
от безответной любви Тирана.  
Землетрясенью — подчеркивает современник —

народом встреченному с восторгом.  
Руке, никогда не сжимавшей денег,  
тем более — детородный орган.  
Сумме зеленых листьев, вправе  
заранее презирать их разность.  
Счастью. Снам, навязавшим яви  
за счет населения свою бессвязность.

*1988*

## ДОЖДЬ В АВГУСТЕ

Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и кучевое пальто норовит обернуться шубой с неземного плеча. Под напором дождя акация становится слишком шумной.

Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное, фирмы Зингер почти с примесью ржавой лейки, слышится в этом стрёкоте; и герань обнажает шейные

позвонки белошвейки.

Как семейно шуршанье дождя! как хорошо

им прорехи в пейзаже изношенном, будь то выпас или междудеревье, околица, лужа — чтоб они зрению не дали выпасть

из пространства. Дождь! двигатель близорукости, летописец вне кельи, жадный до пищи постной, испещряющий суглинок, точно перо без рукописи, клинописью и оспой.

Повернуться спиной к окну и увидеть шинель на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла,

бахрому желтой скатерти, что, совладав

тяготенья, воскресла

и накрыла обеденный стол, за которым втроем за ужином

мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,

совершенно моим, но дальностью лет

голосом: «Ну и ливень».

1988

## НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

Страницу и огонь, зерно и жернова,  
секиры острое и усеченный волос —  
Бог сохраняет все; особенно — слова  
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный  
хруст,  
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,  
поскольку жизнь — одна, они из смертных уст  
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря  
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,  
что спит в родной земле, тебе благодаря  
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

1989



## ПАМЯТИ ОТЦА: АВСТРАЛИЯ

Ты ожил, снилось мне, и уехал  
в Австралию. Голос с трехкратным эхом  
окликал и жаловался на климат  
и обои: квартиру никак не снимут,  
жалко, не в центре, а около океана,  
третий этаж без лифта, зато есть ванна,  
пухнут ноги, «А тапочки я оставил» —  
прозвучавшее внятно и деловито.  
И внезапно в трубке завывло «Аделаида! Аделаида!»  
загремело, захлопало, точно ставень  
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел  
крематория в банке, ее залога —  
эти обрывки голоса, монолога  
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

М. Б.

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером  
подышать свежим воздухом, веющим с океана.  
Закат догорал в партере китайским веером,  
и туча клубилась, как крышка концертного  
фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля  
и к финикам,  
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,  
развлекалась со мной; но потом сошлась  
с инженером-химиком  
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в  
метрополии  
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь  
сплошную  
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья  
более  
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом,  
именем  
ничего уже больше не связано; никто их не  
уничтожил,  
но забыть одну жизнь человеку нужна, как  
минимум,  
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что  
фотографии,  
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела,  
глумлива?  
ибо время, столкнувшись с памятью, узнает  
о своем бесправии.  
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.  
Это, боюсь, не вопрос чутья.  
Скорее — влиянье небытия

на бытие; охотника, так сказать, на дичь, —  
будь то сердечная мышца или кирпич.  
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,  
барахтаясь в скользких руках лепил.  
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур,  
кушетка и комбинация, соль острот,  
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,  
время? Никто, ни одна душа.  
Однако, время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.  
Теперь повсюду антенны, подростки, пни  
вместо деревьев. Ни

---

<sup>1</sup> Конец века (фр.).

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного  
судьбой,  
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над  
собой  
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,  
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей:  
тиран уже не злодей,

но посредственность. Также автомобиль  
больше не роскошь, но способ выбить пыль  
из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;  
и ребенок считает, что серый волк  
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой  
к органу зрения, занятому листвой,  
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,  
глаголы в прошедшем времени, букву «л»,  
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,  
чем тот же Каварадосси — примерно как «хоть  
убей»  
или «больше не пей» —

и рука выпускает пустой графин.  
Однако, в дверях не священник и не раввин,  
но эра по кличке фин-

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки,  
белье.

Когда в результате вы это все с нее  
стаскиваете, жилье

озаряется светом примерно в тридцать ватт,  
но с уст вместо радостного «виват!»  
срывается «виноват».

Новые времена! Печальные времена!  
Вещи в витринах, носящие собственные имена,  
делятся ими на

те, которыми вы в состояньи пользоваться, и те,  
которые, по собственной темноте,  
вы приравниваете к мечте

человечества — в сущности, от него  
другого ждать не приходится — о нео-  
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог  
размножения, чей исток  
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег  
времени требует жертвы, развалины. Баальбек  
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс  
воспоминания. Таков аппетит и вкус  
времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из  
прошлого, если таков каприз  
времени, сверху вниз

смотрящего — или через плечо —  
на свою добычу, на то, что еще  
шевелится и горячо

на ощупь. Я готов, чтоб меня песком  
занесло и чтоб на меня пешком  
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не  
исполнился сильных чувств. По мне,  
движущее вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад  
стоит, или стоит, как иной фасад,  
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,  
неплох. Разве что мертвецов  
в избытке, — но и жильцов,

включая автора данных строк,  
тоже хоть отбавляй, и впрок  
впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр  
в камерной версии черных дыр,  
в космосе. Либо — самый мир

сфотографировать и размножить — шесть  
на девять, что исключает лезть —  
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.  
Под аккомпанемент авиакатастроф,  
век кончается; Проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной  
атмосферы, что объясняет зной,  
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч  
примешиваются наши «спаси», «не мучь»,  
«прости», вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.  
Но век, собирая свое добро,  
расценивает как ретро

и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.  
На западе глядят на Восток в кулак,  
видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,  
птицы вспархивают и летят на юг,  
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит тамтам.  
Но, присматриваясь к чужим чертам,  
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном  
и, скажем, классическим полотном  
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард  
вчера —  
копирку, как мысль чела —  
букву, как рой — пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,  
страшась исключительности, пропаж  
энергии, лучший страж



каковой есть распущенность. Пространство  
заселено.

Трению времени о него вольно  
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря  
невозмутимо синеют, издали говоря  
то слово «заря», то — «зря».

И, услышавши это, хочется бросить рыть  
землю, сесть на пароход и плыть,  
и плыть — не с целью открыть

остров или растенье, прелесть иных широт,  
новые организмы, но ровно наоборот;  
главным образом — рот.

1989

## БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

...погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда по принципу сходства, случившись ночлегом, они жгли костер. В заметаемой снегом пещере, своей не предчувствуя роли, младенец дремал в золотом ореоле волос, обретавших стремительно навыв свеченья — не только в державе чернявых, сейчас, — но и вправду подобно звезде, покуда земля существует: везде.

*25-е дек. 1988*

## ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШМАКОВА

Извини за молчанье. Теперь  
ровно год, как ты нам в киловаттах  
выдал статус курей слеповатых  
и глухих — в децибелах — тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,  
плюс от ходиков слух заложило:  
умерев, как на взгляд старожила —  
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статься, тебе, хвастуну,  
резонеру, сверчку, черноусу,  
ощущавшему даже страну  
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,  
в дебрях северных мерзнувший эллин,  
жизнь свою, как исписанный лист,  
в пламя бросивший, — будь беспределен,

повсеместен, почти уловим  
мыслью вслух, как иной небожитель.  
Не сказать «херувим, серафим»,  
но — трехмерный пространств  
нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде  
тяготенья, вращению блюдец  
и голов, ты взаправду везде,  
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,  
тучка рваная, жиденский ельник,  
это — ты, однокашник, годок,  
брат молочный, наперсник, подельник.

Может статься, ты вправду целей  
в пляске атомов, в свалке молекул  
углерода, кристаллов, солей,  
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,  
сентименты сильнее без вместилищ,  
и постскриптум махровой стократ,  
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей  
как защита от мины капризной  
солоней атлантических щей,  
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,  
ты оттуда простишь этот храбрый  
перевод твоих лядвий на смесь  
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,  
молний с бисером щедрый метатель,  
лучших строк поводырь, проводник  
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,  
бич гостиных, паша оттоманки,  
обнажавшихся роц кипарис,  
пьяный пенъем великой гречанки,

— окликать тебя бестолку. Ты,  
выжав сам все, что мог из потери,  
безразличен к фальцету тщеты,  
и когда тебя ищут в партере,

ты бредешь, как тот дождь, стороной,  
вьешься вверх струйкой пара над кофе,  
треплешь парк, набегаешь волной  
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги  
в эмпиреях, как в недрах колодца.  
Став ничем, человек — вопреки  
песне хора — во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак —  
бунта листьев, падения хунты —  
часть всего, заурядный тик-так;  
проще — топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,  
свою выше ценящая небль,  
чем салфетки, блюдущие стиль  
твердой мебели; мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды  
с прибауткою «вольному — воля»  
до разреженной внешней среды,  
максимально — магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя  
как причины и следствия звенья,  
не грозит тебе там, окромя  
знаменитого нами забвенья.

*21-е авг. 1989 г.*

## ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

Gedenke meiner  
flustert der Staub

Peter Huchel <sup>1</sup>

По положению пешки догадываешься о короле.  
По полоске земли вдалеке — что находишься на  
корабле.

По сытым ноткам в голосе нежной подруги  
в трубке  
— что объявился преемник: студент? хирург?  
инженер? По названию станции — Одинбург —  
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист  
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,  
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул  
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:  
ваши дни сочтены — судьбою или вообще  
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.  
Херувим — тот может не знать, где у него перед,  
где зад. Не то человек. Человеку всюду  
мнится та перспектива, в которой он  
пропадает из виду. И если он слышит звон,  
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,  
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,

---

<sup>1</sup> «Помни обо мне — шепчет прах». Петер Гухель (нем.).

плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара подтверждают лишь то, что у судьбы, увы, вариантов меньше, чем жертв; что вы скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине, в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе, настолько она оглушительна; некий анти-обстрел. Впрочем, все это значит просто, что постарел, что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой. В этом — заслуга поверхности, плоскости. В ней самой есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или просто к небытию. И, сродни строке, «не забывай меня» шепчет пыль руке с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена. По сверканью звезды — что жалость отменена как уступка энергии низкой температуре либо как указанье, что самому пора выключить лампу; что скрип пера в тишине по бумаге — бесстрашие в миниатюре.

Внемлите же этим речам, как пению червяка, а не как музыке сфер, рассчитанной на века. Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья песня. Того, что грядет, не остановить дверным замком. Но дурное не может произойти с дурным человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья.

## ОБЛАКА

О, облака  
Балтики летом!  
Лучше вас в мире этом  
я не видел пока.

Может, и в той  
вы жизни клубитесь  
— конь или витязь,  
реже — святой.

Только Господь  
вас видит с изнанки —  
точно из нанки  
рыхлую плоть.

То-то же я,  
страхами крепок,  
вижу в вас слепок  
с небытия,

с жизни иной.  
Путь над гранитом,  
над знаменитым  
мелкой волной



морем держа,  
вы — изваянья  
существованья  
без рубежа.

Холм или храм,  
профиль Толстого,  
Рим, холостого  
логова хлам,

тающий воск,  
Старая Вена,  
одновременно  
айсберг и мозг,

райский анфас —  
ах, кроме ветра  
нет геометра  
в мире для вас!

В вас, кучевых,  
перистых, беглых,  
радость оседлых  
и кочевых.

В вас мне ясна  
рваность, бессвязность,  
сумма и разность  
речи и сна.

Это от вас  
я научился  
верить не в числа —  
в чистый отказ

от правоты  
веса и меры  
в пользу химеры  
и лепоты!

Вами творим  
остров, чей образ  
больше, чем глобус,  
тесный двоим.

Ваши дворцы —  
местности счастья  
плюс самовласть  
сердца творцы.

Пенный каскад  
ангелов, бальных  
платьев, крахмальных  
крах баррикад,

брак мотылька  
и гималаев,  
альп, разгуляев —  
о, облака

в чутком греху  
небе ничейном  
Балтики — чей там,  
там, наверху

внемлет призыв  
ваша обитель?  
Кто ваш строитель,  
Кто ваш Сизиф?

Кто там, вовне,  
дав вам обличья,  
звук из величья  
вычел, зане

чудо всегда  
ваше беззвучно.  
Оптом, поштучно  
ваши стада

движутся без  
шума, как в играх  
движутся, выбрав  
тех, кто исчез

в горной глуши  
вместо предела.  
Вы — легче тела,  
лучше души.

1989

## СОДЕРЖАНИЕ

### I

«Я обнял эти плечи и взглянул...» . . . . .	7
«Ты поскачешь во мраке...» . . . . .	8
Рождественский романс . . . . .	11
«Воротишься на родину...» . . . . .	13
«В твоих часах не только ход, но тишь...» . . . . .	14
Большая элегия Джону Донну . . . . .	15
Загадка ангелу . . . . .	22
Песня («Пришел сон из семи сел...») . . . . .	25
Песни счастливой зимы . . . . .	26
Ломтик медового месяца . . . . .	28
Зимняя свадьба (из «Старых английских песен») . . . . .	29
Обоз . . . . .	30
Песенка («Проливаю слезу...») . . . . .	31
С грустью и с нежностью . . . . .	32
«Как тюремный засов...» . . . . .	34
В распутицу . . . . .	36
К северному краю . . . . .	38
«В деревне Бог...» . . . . .	40
Новые стансы к Августе . . . . .	41
Einem alten Architekten in Rom . . . . .	47
«Дни бегут надо мной...» . . . . .	53
«Деревья в моем окне...» . . . . .	54
1 января 1965 года . . . . .	55
Стихи на смерть Т. С. Элиота . . . . .	56
Два часа в резервуаре . . . . .	59

Вечером . . . . .	65
Подсвечник . . . . .	66
Одной поэтессе . . . . .	68
Пророчество . . . . .	71
Остановка в пустыне . . . . .	73
«Сумев отгородиться...» . . . . .	76
Послание к стихам . . . . .	77
Прощайте, мадмуазель Вероника . . . . .	79
Фонтан . . . . .	86
Сонет («Как жаль, что тем, чем стало для меня...») . . . . .	88
Речь о пролитом молоке . . . . .	89
К Ликомеду, на Скирос . . . . .	103
Строфы . . . . .	105
Anno Domini . . . . .	109
Элегия («Подруга милая, кабак все тот же...») . . . . .	112
Зимним вечером в Ялте . . . . .	113
Дидона и Эней . . . . .	114
Почти элегия . . . . .	116
С видом на море . . . . .	117
Семь лет спустя . . . . .	121
Конец прекрасной эпохи . . . . .	123
Посвящается Ялте . . . . .	126
Разговор с небожителем . . . . .	143
Пенье без музыки . . . . .	151
Post aetatem nostram . . . . .	160
«Второе Рождество на берегу...» . . . . .	171
Литовский дивертисмент . . . . .	173
Натюрморт . . . . .	177
24 декабря 1971 года . . . . .	183
Похороны Бобо . . . . .	185
Набросок . . . . .	187
Песня невинности, она же — опыта . . . . .	188
Письма римскому другу . . . . .	193
Бабочка . . . . .	196
Торс . . . . .	203
«Я всегда твердил, что судьба — игра...» . . . . .	204

Любовь . . . . .	206
Сретенье . . . . .	208
Одиссей Телемаку . . . . .	211

II

В Озерном краю . . . . .	215
«Осенний вечер в скромном городке...» . . . . .	216
1972 год . . . . .	218
Роттердамский дневник . . . . .	223
На смерть друга . . . . .	225
«Песчаные холмы, поросшие сосной...» . . . . .	227
Лагуна . . . . .	229
Темза в Челси . . . . .	233
Двадцать сонетов к Марии Стюарт . . . . .	236
Мексиканский дивертисмент . . . . .	247
«Классический балет есть замок красоты...» . . . . .	259
На смерть Жукова . . . . .	261
Часть речи . . . . .	263
«Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря...» . . . . .	263
«Север крошит металл, но щадит стекло...» . . . . .	264
«Узнаю этот ветер, налетающий на траву...» . . . . .	265
«Это — ряд наблюдений. В углу — тепло...» . . . . .	266
«Потому что каблук оставляет следы — зима...» . . . . .	267
«Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с...» . . . . .	268
«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...» . . . . .	269
«Что касается звезд, то они всегда...» . . . . .	270
«В городке, из которого смерть расползлась по школьной карте...» . . . . .	271
«Около океана, при свете свечи; вокруг...» . . . . .	272
«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» . . . . .	273
«Тихотворение мое, мое немое...» . . . . .	274
«Темно-синее утро в заиндевшей раме...» . . . . .	275
«С точки зрения воздуха, край земли...» . . . . .	276
«Заморозки на почве и облысенье леса...» . . . . .	277

«Всегда остается возможность выйти из дому на...»	278
«Итак, пригревает. В памяти, как на меже...» . . .	279
«Если что-нибудь петь, то перемену ветра...» . . .	280
«...и при слове «грядущее» из русского языка...»	281
«Я не то что схожу с ума, но устал за лето...» . . .	282
Колыбельная Трескового Мыса . . . . .	283
Bagatelle . . . . .	297
Декабрь во Флоренции . . . . .	299
Полярный исследователь . . . . .	303
Развивая Платона . . . . .	304
«Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою...» . . .	307
Строфы («Наподобье стакана...») . . . . .	308
Шорох акации . . . . .	317
Полонез: вариация . . . . .	319
Квинтет . . . . .	321
Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова . . . . .	325
Пятая годовщина . . . . .	337
«Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...»	342
Осенний крик ястреба . . . . .	343
В Англии . . . . .	347
Новый Жюль Верн . . . . .	355
«Точка всегда обозримей в конце прямой» . . . . .	364
«То не Муза воды набирает в рот...» . . . . .	365
Сан-Пьетро . . . . .	366

### III

«Я входил вместо дикого зверя в клетку...» . . . . .	373
«Вечер. Развалины геометрии...» . . . . .	374
«Как давно я топчу, видно по каблuku...» . . . . .	375
Римские элегии . . . . .	376
Прилив . . . . .	388
Письма династии Минь . . . . .	392
Стихи о зимней кампании 1980-го года . . . . .	394
Горение . . . . .	398

«Я был только тем, чего...» . . . . .	401
Эклога 4-я (зимняя) . . . . .	403
Эклога 5-я (летняя) . . . . .	410
К Урании . . . . .	419
Резиденция . . . . .	420
Венецианские строфы (1) . . . . .	421
Венецианские строфы (2) . . . . .	424
Сидя в тени . . . . .	427
Келомякки . . . . .	435
«Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве...» . . . . .	440
В Италии . . . . .	441
«Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке...»	442
На виа Джулия . . . . .	443
Элегия («До сих пор, вспоминая твой голос, я при- хожу...») . . . . .	444
«Мысль о тебе удаляется, как разжалованная при- слуга...» . . . . .	446
Ария . . . . .	447
Жизнь в рассеянном свете . . . . .	449
Муха . . . . .	451
«Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...» . . .	462
«В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...» . . .	463
Элегия («Прошло что-то около года...») . . . . .	464
На выставке Карла Вейлинка . . . . .	465
Представление . . . . .	469
Послесловие . . . . .	477

#### IV

«В этой маленькой комнате все по-старому...» . . . . .	481
«Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...» . . . . .	483
Примечанье к прогнозам погоды . . . . .	485
«Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» . . .	487



Назидание . . . . .	488
Рождественская звезда . . . . .	492
Новая жизнь . . . . .	493
Кентавры . . . . .	496
Открытка из Лиссабона . . . . .	499
Дождь в августе . . . . .	501
На столетие Анны Ахматовой . . . . .	502
Памяти отца: Австралия . . . . .	503
«Дорогая, я вышел сегодня из дому...» . . . . .	504
Fin-de-siècle . . . . .	506
Бегство в Египет . . . . .	512
Памяти Геннадия Шмакова . . . . .	513
Примечания папоротника . . . . .	516
Облака . . . . .	518

**Бродский И.**  
**Б88** Часть речи: Избранные стихи 1962—  
1989/Сост. Э. Безносков; Худож. А. Ере-  
мин.— М.: Худож. лит., 1990.—527 с.  
ISBN 5-280-01791-4

Сборник избранных стихотворений Иосифа Бродского (род. в 1940 г.), русского поэта, вынужденного эмигрировать в 1972 г. и ставшего гражданином США, включает большую часть опубликованных им за рубежом поэтических произведений, написанных в разное время. В книге, которая шла к советскому читателю свыше четверти века, представлено все многообразие поэтических интонаций и форм, присущих творчеству лауреата Нобелевской премии в области литературы за 1987 г. Состав сборника утвержден автором.

Б 4703040200-250  
028(01)-90 без объявл.

ББК 84.7 США

## ИОСИФ БРОДСКИЙ

ЧАСТЬ РЕЧИ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

1962—1989

Редактор *В. Скороденко*

Художественный редактор *И. Сауков*

Технический редактор *Л. Синицына*

Корректоры *Г. Киселева* и *О. Наренкова*

ИБ № 6433

Сдано в набор 30.01.90. Подписано в печать 25.06.90. Формат 70×  
×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная имп. № 1. Гарнитура «Тип Таймс».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,38. Усл. кр.-отт. 43,25. Уч.-изд.  
л. 17,85. Тираж 50 000 экз. Изд. № IX-3702. Заказ № 563. Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



4 p.

# Chast'vечи

Коллекция  
"Славянская  
культура"

